

Татьяна Алферова

Лестница Ламарка



Татьяна Алфёрова
Лестница Ламарка

«Геликон Плюс»

2012

Алфёрова Т. Г.

Лестница Ламарка / Т. Г. Алфёрова — «Геликон Плюс», 2012

«„Лестница Ламарка“ – исключительно оригинальное произведение – по сути дела, роман в рассказах с четкой конструкцией и детально проработанным внутренним сюжетом. Рассказы Татьяны Алферовой печатают в „толстых“ журналах, их часто читают по радио, но только собранные в одной книжке они выстраиваются в единый сюжет и обретают подлинную глубину».

© Алфёрова Т. Г., 2012

© Геликон Плюс, 2012

Содержание

Творческие люди	6
Грегор	7
Митрич	8
Михалыч	10
Коля-Балбес	12
Потапкин	14
Витальич	16
Жорж Занд	18
Ольга	20
Длинный	22
Большая большая премия	24
Люди	26
Имечко	27
Дар непонятого сердца	30
Петр	32
Учитель	34
Назови меня	36
Массажистка	39
Равновесие	44
Голос его жены	49
Звери	51
Немецкие обезьяны	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Татьяна Алферова

Лестница Ламарка

©Алферова Т., текст, 2012.

©«Геликон Плюс», макет, 2012.

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

*Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.*

О. Мандельштам «Ламарк»

Творческие люди

Рассказы о творческих людях, их женах, любовницах и друзьях



Грегор

Грегор – нивх. Нет-нет, не подумайте, что по происхождению. Грегор нивх по духу.

Собственно, нивхом он стал не сразу, а лишь когда приехал в Ленинград и устроился на фабрику, отстегивающую работникам вместе с зарплатой лимитную прописку в общежитии. Или позже, когда записался в самодеятельный театр и увлекся оккультизмом, догоняя увлеченную уже труппу. Гадание на картах Таро, купание нагишом в лесном озере, общие медитации перед репетициями – поневоле самый распоследний тьюфяк станет нивхом, а тут – Грегор. Он же умеет есть ростки папоротника, он ухитряется в гостях покусать хозяйскую собаку. Он может такое! А еще – прямо за обеденным столом снять носки при скоплении народа. И то, что истинное значение тех самых карт Таро он не знает, ровным счетом ничего не доказывает, гадать-то все равно умеет.

Черт его знает, почему у людей так получается, что, когда женишься, пусть даже на коллеге по театру пантомимы, все равно в итоге рождается ребенок. А у ребенка появляется бабушка, появляется как-то сразу и навязчиво. Хуже того, ребенку не позволяют ходить босиком, кутают в дурацкие шерстяные платки, в то время когда надо все силы бросить на закаливание и поедание проросшей пшеницы. Об общей косности и страхе перед уринотерапией лучше вообще умолчать, и так грех один. Нет, с первой женой у людей не складывается, даже если ты приехал из Хабаровска и по-настоящему моешь полы, а не два раза в год: на Пасху и Покров. Короче, первую жену следует сразу же зачеркивать как незначительный факт биографии.

Вторые жены, обычно, оказываются тоньше. Они занимаются не только пантомимой, но и актерским мастерством не брезгают. С ними можно поговорить об энергии ци, а колокольчику, подаренному на Восьмое марта, они радуются, как дети. Дети, конечно, опять появляются, иногда даже несколько. Но это же нормальные дети. Их нормально воспитывают ходить по полу босиком и принимать позу льва. С бабушками тяжелее. У бабушек случаются, вместо родных дедушек, вторые, в свою очередь, мужья, которые иногда больно дерутся. Тогда жены хватают чайники и разливают бойцов горячей водой, вот тут-то и достается бабушкам – ну не с женой же разбираться, ей-богу. А потом вроде бы все нормально, но жена в самый неподходящий момент примется рыдать рыбкой-белугой и заявит: «А зачем ты мою маму сковородкой ударил?» И припомнит привод в милицию, помрежа Свету и еще много всякого разного, но неинтересного. В смысле обсуждения с женой неинтересного, а как факты биографии – очень даже.

В крайних случаях можно просить политического убежища у боевых подруг, но это червато мужьями, вернувшись из командировки, а если мужей нет в принципе, то и куда как душными разговорчиками: «Ты на мне никогда не женишься, ты ко мне потребительски относишься». Беда с подругами!

Но однажды наступает день, когда, с утра покидав лопатой снег, вместо жены, временно работающей дворником, днем другой лопатой помесив бетон на заводе, на тоже временной, но уже своей работе, вечером разнеся тиражик рекламной газетки для приработка, встречаешься наконец с боевой подругой. Слушаешь ее такие высокие-высокие рассуждения о собственном избранничестве, о каналах с космосом, а нос у нее все равно пористый, и волосы жидковаты, и вдруг забирается в голову некая мыслишка, что ведь все равно надо идти домой, а дома Васька и Манька по лавкам, и жена будет ругаться, а про бабушку и говорить нечего, любой урле понятно, что скажет бабушка, вдруг... Вдруг понимаешь, как здорово, как замечательно, что есть эти сопливые, в пятнах зеленки Васька и Манька, что, в общем-то, никого, кроме второй жены, и нет из близких и родных, да не так уж она и растолстела, если присмотреться. А вечер на диво тихий, хоть и морозный, и понятно же, понятно, что вот оно – сатори!

Митрич

– Виктор Александрович, – сказала Алевтина приятелю своего мужа, подымаясь из-за стола, – я хочу, чтобы хоть раз в жизни вы испытали от меня малую толику тех неприятностей, что я претерпела по вашей милости, – и вылила полстакана водки за шиворот гостя.

Виктор склонился, поцеловал недогнувшую ручку хозяйки, после чего гости дружно ретировались на тридцатиградусный мороз, благо до метро «Лесная» идти недалеко.

Так проходили «приемы» у Митрича. Кто думал, что Митрич не бьет жену, тот не ошибся. С топориком по квартире за Алевтиной бегал, это да, гранату грозился подложить – тоже, но это еще когда они нормально жили. Потом Аля устроилась работать проводником на Октябрьскую железную дорогу, что дало Митричу полное право в минуты душевной невзгоды и особенно на период конфликта смотреть стеклянными глазами мимо жены и орать: «Проводница, чаю!»

Глаза у Митрича стеклянные не всегда, и щетина у него не всегда. Он похож на сову, только раз в сто восемьдесят пять крупнее. Начиналось-то как у всех: самостоятельные выставки живописи, копии с репродукций Дали (редких по тем временам), дешевый кубинский ром и неочищенная конопля. Социальная адаптация цвела пышным цветом, выражаясь в работе (в конструкторском бюро), халтурах, картинках маслом, маленьком аквариуме. О халтурах следует сказать особо: Митрич за умеренную плату брался делать любой курсовой проект и даже диплом, то есть практически по любой технической специальности.

Но – Проводница, чаю! – двое детенышей подрастали вместе с набирающей силу перестройкой и прочими нестихийными бедствиями. Митрич, уволенный из КБ за прогулы, намастрячился торговать аквариумными рыбками. Вместо одного маленького завел несколько больших аквариумов, мотался в Москву за редкой в Питере цихлазомой, растил, кормил, завел место на Кондратьевском рынке. Иногда во время очередного запоя ему случалось „положить рыбу“, и новый выводок дружно плавал кверху лимонным брюхом. Обычно после подобного эксцесса Митрич завязывал, бывало, что и на год, тщательно высчитывая по календарю количество дней до развязки: ритуал. Между рыбой ему случалось лить свечи, сторожить, приторговывать мелким товаром и прочее, прочее.

Митрич грузнел, казалось, становился еще выше, темнел и сам себе вязал жилетки. На большом празднике, Дне радио у Михалыча, засыпал на кухонном полу перед плитой, и не слишком кроткая жена Михалыча спотыкалась об него, ставя чайник. Не менял музыкальных и литературных пристрастий десятилетней давности, безуспешно соблазнял жен друзей и успешно – соседок, почти утратил рвотный рефлекс, и много еще всего с ним случилось, но так, по мелочи, не судьбоносно. Жена Алевтина покрасила волосы в радикально черный цвет, жизнь утратила строгие очертания, и сорок лет уже остались за могучей растолстевшей Митричевой спиной.

Но! Стоит человеку расслабиться и начать принимать действительность такой, какая есть, не протестуя против мироздания, найдя определенную гармонию в разрушении и прозябании, тут-то его и берут тепленьким. Алевтина. Переставь буквы, добавь „н“ – неизвестное, и вот уж Валентина, любовь большая и горячая, как Митрич после пробега по лестнице на пятый этаж.

Вернулось все, даже желание бриться. Митрич мотался к Валентине в Сестрорецк на последней электричке, чтобы ее взрослый сын ничего не заподозрил, счастливо проводил бессонную ночь и уезжал на рассвете. Надо и малька покормить, и на рынок успеть, рыба терпеть не будет. От подобного образа жизни Митрич похудел на десять лет. Глаза его приобрели иной, далеко не стеклянный блеск. Соседок соблазнять более не требовалось – приходили сами, но впустую. Даже с выпивкой завязывать пока не было необходимости, ибо последняя работала на увеличение в крови Митрича радости, а не лигрыла (литроградуса на рыло, по общей терминологии).

логии). Дети выросли почти окончательно, вот-вот можно было что-то решать, что-то менять в жизни.

Неужели, правда, любовь – двухлетнее растение? Потому что даже раньше, чем истекли два года, ни о какой Валентине уже не было и речи. Вода в Сестрорецке совершенно не подходила для разведения цихлазом.

Михалыч

Если у вас есть муж, имеющий привычку отмечать День радио у Михалыча, не стоит нервничать, когда он не придет ночевать. А позвонив Михалычу за полночь и услышав, что муж давным-давно уехал, оставить в покое валокордин, телефоны милиции, больниц, моргов и две пачки облегченных сигарет, лениво выпить горячего молока с медом и спокойно лечь спать. Муж наверняка остался у Михалыча. Потому что в противном случае хозяин подтвердил бы его присутствие, отказываясь передать трубку. Не любит Михалыч проверок, хоть ты тресни. А людей следует принимать такими, какие есть. Это Михалыч охотно подтвердит. Крупницы народной мудрости, пословицы, цитаты из кинофильмов советского времени, "гарики" Губермана оккупируют половину его речевой деятельности, вторая половина отведена радиолобительским (как говорит сам носитель – "радиогубительским") терминам.

Узнать Михалыча легко: как правило, он водится на территории рынка, где продают тиристоры, транзисторы и всякие динамики; штаны на нем, независимо от материала и фасона, округлой формы с вытянутыми коленками, он плотный, невысокий, с богатыми усами. Но самое главное, он всегда и везде выглядит как абсолютно счастливый человек. Вот по этому-то качеству его и можно отличить от прочих. За это его и любят все, кроме непосредственных начальников на работе, и спускают то, за что другого лупили бы с утра до вечера. Ведь Михалыч как устроен в общении? Придя в дом повешенного, он не только заговорит о веревке, но и принесет с собой образцы, и расскажет соответствующие случаи. Но вдова, оскорбившись поначалу, через полчаса начнет есть из его рук и позволять гладить себя по коленке, хотя никаких комплиментов, кроме одного, не услышит. Единственный комплимент, употребляемый соблазнителем всегда и часто: "Люблю я выпукло-вогнутых гражданок". И он, конечно, соблазнит вдову, хотя бы и против ее воли – ведь женщины любят, когда против воли. Впрочем, когда Михалыч впадает в любовную ярость, он может и не посмотреть на пол объекта, это – частности. А он видит мир в целом. Как любой абсолютно счастливый человек, хотя других счастливых как-то не попадалось. Разве Леонардо? Из такого видения проистекает призвание Михалыча – изобретатель. Им запатентовано внушительное количество изобретений в области радиодела и телефонии, но самые удачные находки осели по квартирам знакомых в домо-рошенном исполнении. Позже они появлялись массовыми тиражами и в промышленных масштабах, но Михалыч был уже ни при чем. Он утверждает, что на Западе стал бы миллионером со своими изобретениями, коих у него появляется не меньше десятка в неделю. Вряд ли. При всей своей гипертрофированной рачительности вместо поиска менеджера или какого спонсора Михалыч продолжал бы выпиливать лобзиком деталь синхрофазотрона, будь то в Гарварде, Урюпинске или Токио.

Он приехал в Питер, отслужив положенное на подводной лодке, устроился электромонтером на радиоузле завода, выпускавшего галоши, и поселился в коммуналке. Коврик для ног лежал перед дверью внутри комнаты, чтобы не носить грязь в общественный коридор, на восемь метров жилья иногда приходилось более десятка гостей. При этом отношения с соседями были прекрасными, можно сказать, родственными. Подруг у Михалыча наблюдалось изрядное количество, но предпочтение отдавалось корпулентным "выпукло-вогнутым" гражданкам независимо от статуса. Щи ему варили одинаково старательно и кладовщицы, и начальницы профсоюза. Он о них по-своему заботился. В те годы, когда сахарный песок продавался по талонам, мог позаимствовать сахар у коллеги, матери-одиночки с двумя детьми, и отдать подруге. Объяснял просто: подруга – барышня одинокая, даже детей нет, кто еще о ней позаботится?

Когда Михалыч женился, самым серьезным изменением стал переезд коврика по другую сторону двери. Неизвестно, какой характер у жены Люси был прежде, но рядом с Михалычем

она проявила себя сущим ангелом, суровым, как то ангелу и положено. Гости продолжали кучковаться в крохотной комнатухе и так же оставались ночевать, но теперь уж не вповалку, а ровными рядами и кучками. Посуда мылась регулярно, бодро булькали щи, и сахарного песка оказывалось вдоволь. Лишь Михалычевы штаны оставались вытянутыми на коленях, как и прежде. Штаны как часть хозяина трансформации не поддавались. Михалыч не звал жену по имени, но гражданка, или Родная – именно так, с большой буквы, обращение было перенято друзьями и соседями и звучало гораздо привычнее, чем Люся или Люда. "Пошли ко мне в гости, – уговаривал Михалыч случайно встреченного знакомого, – сегодня Родная пироги напекла".

Атрибут абсолютного счастья Михалыч перенес на свой брак и, соответственно, на жену. Никто и никогда не слышал, чтобы тот или другая жаловались на жизнь, ныли, переживали, хотя бы сетовали. А жили в точно такое же время, что и прочие, так же болели, сидели без работы и денег. И если Михалыч хватался за сердце, то потому, что ночь напролет просидел над очередным изобретением или новой пластинкой и выкурил пачку сигарет. К переживаниям не относится и борьба Михалыча за справедливость. Он обожал с пафосом выступить на собрании рабочего коллектива и открыть общественные глаза на злоупотребления начальства. Далее события развивались по принятой во всем мире практике: начальство злоупотреблять продолжало с еще большими основаниями, а Михалыч искал новую работу. Находил быстро. Ведь пока не столкнешься с его атмосферой счастья, вечного праздника и приключения, так и будешь думать, что перед тобой человек взрослый, умудренный годами и опытом.

Судьба, как любая гражданка, нервничает, когда ею пренебрегают. Утомившись испытывать Михалыча, лишая его работы, ломать руки, толкать под машины, устраивать перебои в сердце, она осыпала неподдающегося подарками, то есть одним подарком, но крупным. В год развала и тотальной приватизации судьба преподнесла ему на последнем блюдечке заводского сервиса шикарную государственную квартиру в две большие комнаты. Но Михалыч не дрогнул. Большую комнату немедленно завалил транзисторами и тиристорами, завесил окна черными бумажными шторами, чтоб солнце не мешало работать, стремительно перезнакомился с соседями по площадке, завел к себе на кухню и устроил подобие приснопамятной коммуналки. В маленькой комнате Родная разместила все остальное, подселив еще племянницу с дочкой. Так у Михалыча, обожавшего детей, но не имевшего своих, появилась готовенькая внучка. Они прекрасно ладят, ведь девочка еще маленькая, и, как обычно, счастливы.

Коля-Балбес

Коля-Балбес был красивый. Ну, во-первых, он рыжий. Во-вторых – этого "во-первых" достаточно. И жена у него была довольно красивая, насколько может быть красивой блондинка. И дети, похоже, были. Еще в той жизни, в молодости то есть. В той жизни выпивали практически все, кроме детей. Дети если и пили, то исключительно по недосмотру молодых взрослых. Но взрослые взяли и перестали быть молодыми, и та жизнь кончилась. Совсем. Жена ушла, про детей – так и непонятно, были они, или нет.

Следующая жизнь – солидная, в ней покупают машины и квартиры, женятся по второму-третьему разу, готовят детей к поступлению в институт-университет, большинство, правда, готовит не детей, а деньги на поступление, но меньшинство тоже имеет право на солидную жизнь. В этой жизни большинство не пьет, а если пьет, то тоже солидно или в рамках, по крайней мере, на службе. Вот даже Михалыч в этой жизни пьет гораздо меньше, он как-то больше по закускам или по дамам. А упрямое меньшинство, ну то, которое имеет право, продолжает тянуть старые привычки, как Митрич. Балбес примкнул к меньшинству, пил, в общем-то, солидно, но солидность относилась именно к объему потребляемого. А что ему – жена ушла еще в той жизни. Квартира у него уже была, машину покупать и не собирался. А деньги тратить надо, в этой жизни денег у всех больше, чем в той. Работает Коля не абы как, на постоянной работе работает, что в солидной жизни для пьющего человека непросто.

Наконец случается у Балбеса юбилей. Первый. Солидный. Пятьдесят лет. В ресторан Коля не хочет принципиально, что он в ресторанах не видел? Все видел. Ведь в той жизни, еще в советские времена, служил на Лермонтовском проспекте в гостинице "Советская" как раз в ресторане – халдеем. Так это тогда называлось.

Готовится к юбилею, друзей зовет: Митрича с Михалычем. Митрич к этому времени со своей женой очередной раз сошелся, похоже, насовсем, Михалыч так и не развелся, ну женился-то поздно. Но идут на празднование без жен, друзья – они тем и хороши, что без предупреждения знают, куда с женами идти, куда без. К тому же с женами они не ходят никуда.

У Коли на столе раздолье: водка, виски, еще водка, несколько бутылок. И скумбрия холодного копчения – одна. Без хлеба. Выпили по первой за юбиляра, Балбес прилег на диван отдохнуть, а проснуться никак не получается. Потому что это только гости по первой, а Коля очень даже по очередной. Выпили по второй без Балбеса, то есть без Балбесова участия, сам-то он вот, рядом на диване, похрапывает, по третьей, и так до конца бутылки. Закусить хочется, скумбрия давно кончилась, вечер начинается совсем поздний. Хлеба все нет. Митрич говорит: "Так, – это он часто так говорит. – Поеду я домой, пока метро возит, у Алевтины суп сегодня. Жрать что-то сегодня очень хочется".

Чтобы Митрич от стола, полного бутылок, ушел – это редкость. Но, как оказалось, случается. Такой у него пафос был в этот вечер, почти поздний, – оставить праздничный стол и вернуться домой супу поесть. Мало ли у людей какие фантазии. А Балбес все спит на диване, не рыжий уже, седой наполовину. Михалыч с Митричем согласился, что есть хочется, – с легким сердцем согласился, тем более Михалыч всегда насчет закусок не дурак. Но друга оставлять в день юбилея нехорошо.

Объективно говоря, они оба – романтики, что Митрич, что Михалыч, потому удивительно, что Митрич к юбилею друга отнесся без трепета: выпил бутылку и ушел суп есть. Не то Михалыч. Согласиться-то он с Митричем согласился, встал, оделся, на улицу вышел. Но не домой отправился, где у жены, по семейному прозвищу "Родная", не только суп, а и второе, и пироги, салаты и винегреты, и даже компот бывает – не только по праздникам. Еще надо учесть, что пироги и пиццы Родная сама стряпает, а не покупает в "Пятерочке" замороженные полуфабрикаты, и пиццы у нее до того духовитые получаются, что на лестничной площадке у лифта

слышно: Люся ужин готовит, с ветчиной и грибами сегодня. Или с сыром, яйцом и оливками. Много на свете разных начинок, Люся знает все. Так вот, отправился Михалыч напрямик в магазин, где купил кусок мяса, пару луковиц и хлеб. Вернулся. Балбес спит на диване. Встал Михалыч к плите, пожарил мясо с луком, хлеб нарезал. Балбес на запах проснулся немного. Поели, еще выпили, Балбес уснул. Началась ночь. Рано утром Михалыч уехал, хозяина будить не стал. Разве можно человека после юбилея будить!

К вечеру Балбес позвонил Митричу с некоторой обидой. А у Митрича очередной пафос: правду с плеча рубить, хотя бы и по телефону. Так он и заявил, что сильно жрать хотелось, а скумбрии на всех не хватило.

– Митрич! – с упреком сказал Балбес. – Я же волновался! Я две недели готовился! Я с утра на стакане был!

Митрич поборол стыд и повторил, что всякую выпивку рекомендуется перемежать закуской.

– А я про что? – возмутился Балбес. – Не могли холодильник открыть, да? У меня же на полк жратвы приготовлено. Сейчас вот с горя все на помойку снес, вместе с рыбой.

Рыбу Балбес замечательно готовит, и не только рыбу.

Потапкин

Стихи-то Алеша порой писал хорошие, замечательные стихи. И если взялся бы их перечитывать да доводить до ума, не сложилось бы из него творческого человека, закончил бы очередным заурядным членом Союза писателей, каких и без того уж полтысячи в городе. Но Алеша Потапкин предпочитал работать над собой, неумолимо расчищая место под солнцем то в котельной, то на продаже элитных семян, то в ботаническом саду где-то в Крыму. В котельной собирались поэты, печатающиеся в многотиражке под названием "Текстиль", обсуждали будущие выступления, запивая портвейном Алешину картошку в мундире. Ругали Алешу и под настроение учили его писать правильно. В иные вечера разных "правильно" набиралось до четырех, больше никогда. После четырех начиналась конфронтация между самими гуру, об Алеше забывали. Шопенгауэр сменялся Кастанедой, Хайдеггер выживал Сведенборга, дзен обростал языческими славянскими обрядами, Ницше оказывался особенно близок, что и говорить, легче всего до конца прочесть именно "Заратустру". Если придет такая фантазия. Дзен-буддизм еще не полностью исчерпал себя, когда котельная дала дуба всеми своими манометрами. Сперва закрыли бассейн, потом потекли трубы и перестали давать зарплату. Потапкин от зарплаты не зависел, он страдал, переживая трагедию любви. Объект был невысок, полноват, черняв и занимался росписью по керамическим тарелочкам. Алеша таскал сумки с тарелочками туда-сюда, рассуждал о низком проценте продаж, о закате искусства и живописи вообще, страдания были сладостны и продуктивны, но на одной из остановок между туда и сюда нарисовался бывший муж объекта и активно включился в движение. Места для Потапкина не стало. Он уволился из котельной и зарекся иметь дело с художниками.

Поэты, те тоньше и ближе. Новый объект, томный и изящный, как положено поэту, жил в двух часах от города, если на электричке. Вместе с метро и трамваем получалось все три. Алеша продавал семена в электричках по дороге обратно. По дороге туда, дороге любви, он сочинял стихи. Однажды он опоздал на последнюю электричку и ночевал на вокзале. Было восемнадцать градусов мороза, карандаш выпадал из пальцев, потому что перчатки Алеша забыл на подоконнике в парадной объекта. Вернуться за перчатками он не мог, там бродил постоянно действующий муж. Собственно, объект любви никогда не делал из мужа секрета, муж как муж, и Потапкина не скрывал по той простой причине, что скрывать было нечего. Алеша так и не переступил порога заветной квартиры, его любовь протекала на свежем воздухе. Но зимой романы протекают трудно, семена продаются плохо. Алеша сильно простудился и загремел в больницу. А когда вышел, место на свежем воздухе оказалось занято, хотя, кажется, улицы в городке не такие узкие. До весны он перемогся и повез свою хандру в Крым, сторожить сад, относящийся к Никитскому ботаническому. Кроме хандры он вез собаку, сторожей без собак не брали. Пса Алеша получил в приюте для бездомных животных за гроши, ухитрился оформить на того справку для самолета, все шло замечательно, но в полете у песика приключился понос от обилия впечатлений. В тот период Алеша увлекся прикладной магией, толкованием снов, совпадений и прочего, потому сразу сообразил, что дерьмо – к деньгам. За сезон в Никитском саду он на самом деле хорошо заработал, но вместо денег выдали продукцией, а именно, сколько-то яблок, немного персиков – испортятся ведь, а в основном миндалем. Потапкин проявил чудеса деловитости, договорился с машиной и сумел переправить в Питер все мешки. Миндаль был нечищенный, в зеленых кожурках, под которыми скрывался продолговатый и твердый орех. Кожурки гнили, заражая оболочку; чистить, раскладывать по ящикам, сушить миндаль оказалось трудней, чем найти машину из Крыма в Питер. Спину ломило от непрерывного сидения над ящиком, кожа на руках потемнела и потрескалась. Чищенные орехи Алеша сбывал на рынке бабкам, те брали плохо, больше всего взяли в каком-то кафе, целых десять килограммов. На ближайшие годы орехов хватало.

Одна любовь сменяла другую, страдания не кончались. Не все объекты были замужем, более того, не все догадывались о Потапкиной страсти, но общая черта неизменно и жирно обводила все романы Алеша – приверженность объекта Эвтерпе или Эрато. Алеша любил только поэтов. Слово "поэтесса" объекты не признавали, они числили себя поэтами, пусть непризнанными. Пока. Так бы все и шло, к общему удовольствию, только самые ленивые и нетрезвые из друзей не упражнялись в остроумии за потапкинский счет, только самые отчаянные из филантропов не учили его жизни, но... Алеша женился. И как-то так получилось, что жена не сочиняла стихов, а совсем наоборот, сочиняла музыку. Причем профессионально, более того, ей же еще за это и платили, чем не могут похвастаться 999 поэтов из тысячи, пусть и признанных. И еще получилось, что Алеша бросил семена, котельные, ботанические сады и устроился на постоянную работу, как последний филистер. Стихи он пишет по-прежнему, наверное, не хуже, чем раньше, никто не знает. Больше Потапкин стихов не показывает.

Витальич

Чем сложнее блюдо, готовящееся к ужину, тем более дальние знакомые звонят. Когда жарить простецкую яичницу, позвонит самая близкая подруга, на худой конец, средне близкая, словом, те, кому можно без обид сказать – извини, мне некогда, тут уже почти все подгорело. Но если на плите булькает нечто сложное и изысканное – добра не жди. На именины планировалась баранина, тушенная с черносливом, поэтому позвонил Витальич. Позвонил, как будто не было никаких десяти лет бойкотирования, залитых злостью и страхом, и заявил, что ему необходимо срочно повидаться.

Именины Гуля не отмечает, как и многие другие праздники, но если в доме постоянно гости, почему этот день должен отличаться от прочих? Поэтому были Ирка с Витей, а Алеша был потому, что он был всегда. Баранина чинно пыхла в латке на кухне, гости сосредоточенно ели салат. Все было чинно, по-буржуазному.

Хозяйка слегка удивилась звонку Витальича и, прислушиваясь к запахам из кухни, ответствовала, что не видит необходимости встречаться, а сегодня тем более, потому как – гости. На что Витальич отвечал кратко:

– Ладно, я выезжаю.

Гостей в общих чертах просветили, что сейчас приедет один такой, ну, в общем, художник, возможно, и все накинудись на пока еще уставленный закусками стол. Мало ли, что там потом случится, главное – не отвлекаться. Не отвлекаться не получилось: позвонили Митрич с Севиком, давние и бывшие друзья Витальича. С какой стати было не пригласить? Тем более что их градус успешно конкурировал с градусом собравшейся компании.

Витальич приехал раньше бывших друзей, хоть сильно проигрывал в трезвости, вернее, выигрывал в градусе. Сцена выходила несколько неловкая, потому все старались вести себя естественно: Алеша Потапкин ронял на ковер нож с колбасой, Ирка разглядывала собственные коленки, а Витя – стену с тремя картинами, написанными маслом.

– Дерьмо это, – сказал Витальич для начала, проследив Витин взгляд на живопись. Пришлось представить их друг другу – чтоб сподручней вести беседу о форме и содержании. По окончании процедуры знакомства Витя перевел взгляд на тарелку перед собой. В отличие от рюмки она невинно поблескивала пустотой. Выпили. Витальич продолжил: – Вот я и говорю, дерьмо! – посчитав перемещение Витинога взгляда за вопрос, пояснил: – Картины эти – дерьмо. Или я непонятно выражаюсь?

Хотя гости, как люди интеллигентные, обязаны в общих чертах представлять себе, что такое художник, Гуля сочла нужным вывести Витальича на лестничную площадку. Там за сигаретой и молчаливым мусорным бачком Витальичу сообщили неприятную новость, что его сюда никто не звал, с отвратительной подробностью: ежели ему чего не нравится, то никто здесь и не держит. Витальич понял все и немедленно, что доказал, когда на площадке появился Витя с игривым вопросом, не помешал ли. Витальич отвечал по обыкновению лаконично:

– Помешал.

Хозяйка вернулась к столу, потому что вечер принялся сам себя развивать и гости нормально развлекались.

Наконец-то объявились Митрич с Севчиком и "обсели" Гулю с обеих сторон. После очередных перемещений вокруг стола левый бок Ирки оказался совершенно оголен в стратегическом смысле. К этому боку и направился Витальич, утомленный созерцанием плохих картин. На сей раз он сосредоточился на Иркиных коленях, и его легко можно было понять, ибо по части коленок в данной компании Ирка, безусловно, лидировала. А так как художники не всегда доверяют зрительному ряду, попытался перенести собственное восприятие в область осязания. Общая беседа смахивала на заключительное действие корейской оперы. Хозяйка

предлагала народу освежиться посредством принятия водки, Митрич восклицал, обращаясь к Витальичу: "Сколько лет" и т. д., Алеша разговаривал в автономном режиме, Севчик смеялся, натужно покраснев, а Витальич уговаривал Ирку плюнуть на все и поехать – тут, кажется, даже прозвучало слово "нумера". Витя, прикрывая правый Иркин бок от беспокойного и крупного, но безобидного Митрича, делал вид, что слушает Алешу, что само по себе было бы уже странно. Попавшая в ловушку Ирка все беспокойней ерзала, защищая колени, и Митрич повел себя как джентльмен, взяв быка сразу за рога:

– Витальич, кончай это дерьмо. Сколько лет не виделись...

Витальич радостно перебил: "И не увидимся", – после чего принялся педантично сплевывать на ковер и поливать окружающих Иркиным чаем. Он явно выбрал ее в союзники на этот вечер. Общий градус наконец-то дошел. Странно, что после чая, обычно водка представляется более перспективной. События развернулись, как нарождающаяся галактика. Как и в случае с галактикой, проследить, что за чем следует, оказалось невозможным. После бурного движения присутствующих силы распределились следующим образом: Витальич лежал в коридоре на полу и тонко повизгивал, Митрич, проявляя чудеса координации, загораживал дверь от Вити и Алеши, декларируя с пафосом:

– Только через мой труп, он все же был моим другом!

Гуля пробиралась мимо Митрича окольными путями, Ирка с ногами вскочила на диван, Севчик сохранял лицо с таким чувством, что невольно вызывал желание подсмотреть, а как же он какает. Наступил нечетко выраженный антракт после первого действия. Кульминация – по количеству движения – пришлось на второе. Началось оно (режиссура, право слово, оставляла желать лучшего) с возгласа "сука", вопреки нормам родовой принадлежности обращенного хозяйкой к Витальичу и сопровождающего пощечиной. Судя по глубокому чувству, вложенному в действие, как сливочная тянучка в невзрачный фантик, дело было не в Иркиных коленках. Да мало ли у всех нас подруг, пусть даже и с красивыми ногами. Ясно, что об ЭТОМ хозяйка мечтала долгими зимними вечерами. ЭТО снилось ей по ночам. Не избиение Витальича, а пощечина как таковая, безадресная и в чистом виде. И вот – реализация, да еще при скоплении искренне заинтересованных зрителей. Хозяйка столь углубилась в собственные переживания, что не заметила, как Витальича вынесли. Ирка решила, что основная часть программы закончена, и совершила попытку собраться домой. Севчик принялся натужно смеяться, прервавшись на реплику: "Как ты неправ!"

Меж тем действие выплеснулось на улицы, вынесенное "ан масс". Витальич не шел сам, сразу падал. При несении его втроем, на манер бревна, падал Митрич. Приноровились тащить по очереди, Витальич упирался. На шоссе Витя предпринял попытку остановить машину, припрятав падающих за троллейбусную остановку. И машина даже остановилась и чуть не приняла в свое нутро Витю с Потапкиным, но когда от остановки отделились транспортируемый с транспортирующим и, отделившись, продолжили свободное движение вперед и вниз, внутри машины проявился водитель, рывкнул: "Твою мать, охренели!" – и рванул прочь в офонарелые дали проспекта. Четыре долгих квартала они несли Витальича, падая в снег и теряя Митрича, но это не самое увлекательное и удивительное в их экспедиции. Ведь речь идет о старых, доперестроечных временах, и непонятно, где они нашли пиво в три часа ночи, когда не ходили и такси.

Возвращение героев ознаменовалось бурными танцами, хотя один из ахейцев не вернулся, но не Митрич, как можно ожидать, а Потапкин Алеша. Потом они загрузили, сели за стол, долго и мрачно пили пиво и были совершенно... совершенно счастливы.

Жорж Занд

Как-то ведь ее звали. Никто не помнил как. Она была маленькая, полненькая и юмористка. Не в том смысле, что шутила, напротив, казалась неколебимо серьезной – она писала юмористические рассказы. По ночам. А почему ее меж собой прозвали Жорж Занд – неизвестно.

Жорж Занд привел с собой Колесик, он вывез ее откуда-то с Севера и женился на ней или сперва женился, а потом вывез. Это было вообще-то не по правилам. На встречу с одноклассниками не принято приводить жен, мужей или кого бы то ни было радикально постороннего. Но Колесик правила нарушил. Он и сам был довольно творческой личностью. В десятом классе писал стихи, обильно насыщенные ненормативной лексикой, а еще хорошо рисовал зайцев шариковой ручкой. Но Жорж Занд оказалась настоящей писательницей, потому ее не стыдно было привести хоть куда. Один ее рассказик даже читали по радио, она сама говорила. Она сразу все про себя рассказала – про то, что женщин-юмористов почти и нет вовсе, о своем литературном объединении, где собираются такие же, как она, но мужчины, о том, как пишет по ночам и не любит акульки плавники в пальмовом масле. Громко так рассказывала, народ даже поесть не успел, только выпивал потихоньку.

– А хочешь, – обратилась Жорж Занд к хозяйке квартиры, – я сейчас позвоню нашему руководителю, – тут она назвала фамилию, встречающуюся в газете в разделе афоризмов, – и он придет? – Жорж Занд делала хозяйке подарок в знак будущей дружбы. – Если ему сказать, сколько здесь выпивки и закуски, он точно придет, – пообещала Жорж Занд.

– Зачем? – растерялась хозяйка, недалекая шатенка, осыпанная веснушками. Она нервничала из-за того, что общий разговор за столом буксовал, не продвигаясь к следующему тосту.

– Как знаешь, – снисходительно согласилась Жорж Занд. Дружбы не получилось. В комнате становилось скучновато.

– Кстати, зая, – обратился Колесик к супруге, – ты знаешь, что наша Маринка пишет стихи?

– Это правда? – величественно удивилась зая. – Пойдем на кухню, или где здесь потише, ты мне немедленно все покажешь.

– Но у меня с собой только то, что в записной книжке, там непонятно написано, – робко отвечала неробкая Марина, жалобно глядя на стол с бутылками-рюмочками. Хозяйка наконец взяла себя в руки, побуждая народ разливать и злоупотреблять.

– Ничего, разберемся, – отечески похлопывая желтой ладошкой по спинке кресла поднималась на ноги юмористка.

На кухне обе закурили, Марина нервно, Жорж Занд вальяжно и сосредоточенно. Странички записной книжки шуршали, пепел осыпался на кухонный стол. Боком в дверь протиснулась Нинка в погоне за сигаретой и новыми впечатлениями. Жорж Занд рассеянно подняла голову на скрип двери.

– Девушка, принеси нам пепельницу, – ласково обратилась она к оторопевшей Нинке. – Да, и выпить чего-нибудь.

После третьего бокала она возмущенно удивлялась и стыдила Марину.

– И ты с этим сидишь? Дурочка, надо же срочно что-то делать! Надо же нести!

– Стихи нести? – уточнила Марина. – Куда?

– Ничего, – пообещала Жорж Занд, – я этим займусь. Конечно, для начала тебе придется переспать с одним-другим козлом, но для пользы дела – ничего.

– Девки! – заорал Колесик. – Плясать пошли!

– Отстань, – забрезговала Жорж Занд, но за Колесиком появилась хитрая физиономия

Боба:

– Что? Не пошли? Гуля там набрела на отличные медляки.

Форты сдались. Жорж Занд поплясала с Бобом один танец. Жорж Занд плясала с Бобом другой танец. Третий. Гуля сменила медляки быстрым рок-н-роллом, но Жорж Занд все равно плясала с Бобом, крепко ухватившись за его шею.

– Давай выпьем, да? – предлагал Боб.

– Давай, – соглашалась юмористка, не выпуская жертву и не прекращая своего занятия. – Марина, дай нам по бокалу.

– Давай сядем, – предлагал Боб и высматривал свободное место на диване, оккупированном одноклассницами, дабы их тесные, благоухающие французскими духами польского производства ряды обезопасили его.

– Давай, – согласилась Жорж Занд и немедленно очень богемно уселась на пол, увлекая партнера. Диван захихикал и заколыхался.

Боб пропал от собственной вежливости. До предложения "Давай, ты пойдешь на хрен" ему не хватало слишком много лигрывлов. Колесик душевно развлекался с Ирккой и не соби-рался вмешиваться, а и кто его спрашивал.

После очередного бокала Жорж Занд недрогнувшей рукой взялась за исследование.

– Ты можешь мне объяснить, словами объяснить, – вопрошала она слегка подхуевшего Боба, – почему ты меня не хочешь?

– Ы-х, – убедительно отвечал Боб.

– Потому что я толстая? Или потому что у меня внешность такая?

Боб удивился и поглядел на ее внешность. Было темно.

– Или ты из-за Колесика? Ты разделяешь предрассудки? Вот, давай честно ответим друг другу на все вопросы.

– У-ы-х, – сказал Боб и сделал вид, что уснул на полу. Здесь можно, хозяйка не выгонит на ночь глядя. А утром, даже если Жорж Занд с Колесиком не отвалит, утром он быстренько свинтит. Вплоть до Америки.

Утром Колесик с женой повезли Боба смотреть зубробизонов. Через полгода Боб эмигрировал.

Ольга

Шел дождь, и Гуля поехала к школьной подруге. Потому что, если бы погода была получше, она, безусловно, занялась бы чем-нибудь полезным: отправилась в Горелово на дачу или на Торжковскую – искать по канцелярским магазинам декоративные кнопки. Но шел дождь, и Гуля отправилась к Ирке.

Они редко виделись последнее время. Не то чтобы надоели друг другу или устали преодолевать на трех видах транспорта расстояние между своими домами от Парка Победы до Сосновой Поляны, просто у каждой появился новый круг, в котором разница между одной и двумя котлетами на обед незаметно, но решительно меняла прежние привязанности.

Подруги обрадовались встрече еще в прихожей, сели пить кофе, но разговор не складывался. Значительные события, приключившиеся с каждой за два месяца разлуки, уместились в полтора предложения, а незначительные заняли бы целую неделю голого пересказа без комментариев. Но они сидели на кухне, а там, конечно, случился подоконник, уставленный цветами в горшках, простых обожженных и глазурированных. Цветы болели загадочной болезнью с коричневыми пятнышками, и подруги быстро мобилизовались на консилиум для выработки совместного диагноза. Время потекло исключительно приятно, диагноз успешно продвигался. И тут прозвенел дверной звонок, вернее, сыграл пять нот вальса из "Спящей красавицы".

Появившаяся красавица оказалась активно бодрствующей. Новая Иркина подруга Ольга была стройной и невысокой, но заняла в кухне сразу очень много места. Кинув на цветы мимолетный взор, определила, что дело в клеще, а лечить, в смысле уничтожать, его надо изофеном или кельтаном. Гуля устыдилась, что при живой-то даче так и не узнала слова богаче, чем карбофос. А Ольга уже рассказывала параллельно о ремонте тувель и ремонте машины.

– Эти автомеханики, – убеждала Ольга, – они же как дети. Им все приходится объяснять на пальцах. А какую набойку способны приклеить, если не объяснишь им о правах потребителя, девочки, вы даже не представляете!

Разговор о материале для набоек вырос в одностороннее обсуждение материала для автомобильных чехлов. О допустимых сочетаниях цветовой гаммы Ольга знала все, а также о плотности, ворсистости и прочей фурнитуре. Двадцать четыре способа перетяжки дивана было изложено заодно, за восемь с четвертью минут. Ольга очаровательно блестела зубами и коленками и бурно оживлялась при самом чахлом наводящем вопросе. Переход, совершенный из кухни в комнату, пробудил в ней жажду к путешествиям. Она принялась уговаривать Ирку махнуть на машинах в Скандинавию. Оказывается, можно останавливаться в мотелях и экономить на этом массу денег. Ольга уверяла, что мотели, которые показывают в детективах, особенно старых, напрочь не соответствуют действительности. На самом-то деле в тамошних мотелях никакой грязи, никаких там раздавленных клопов. Гуля не к месту добавила, что клопы в Скандинавии, конечно же, совершенно целые. Ирка не к месту заметила, что хотела бы съездить в Париж, по путевке.

– Париж, – ответила Ольга, – что такого нового в Париже? Вылитый Питер, только серый весь. Ты что, больших городов не видела? Вон у нас у самих Эрмитаж под боком. То ли дело отдохнуть на природе, побродить по лесу, искупаться в тихой скандинавской речушке... По специальности, между прочим, полезно.

– А кто ты по специальности? – удивилась Гуля.

– Дизайнер, – просто ответила Ольга. – Через месяц заканчиваю.

– Что заканчиваешь? – уточнила Гуля, демонстрируя превышение допустимого предела занудства.

– Дизайнерские трехмесячные курсы, – солидно объяснила Ольга и без паузы заговорила о неведомом Генке, в которого жена Надька кинула пепельницу из ладгальской керамики и

пробила двойное окно. Ладгальская керамика – самая изысканная с точки зрения дизайна, все знают. А он замочил жену Надьку в прямом смысле – в ванне со шторами, мокнущими с утра, причем вода была уже совершенно холодная.

Пока Ирка ходила на кухню варить очередную порцию кофе для подруг, на сцене появилась бедная Светка, у которой мужа только что выписали из клиники, где он страдал без алкоголизма. Бедной Светке пришлось варить яйца для него, а муж накричал, что они холодные – явная параллель с водой в ванной, – и ушел к любовнице, хлопнув дверью по собаке. Собака у них элитная, мастиф, но очень нервный и робкий. Зато окрас потрясающий. А до этого он, Светкин муж, выпивал по бутылке бренди постоянно и стрелял из газового пистолета прямо в Светку, с двух метров, но не попал. Вообще, чтобы попасть в кого-нибудь из газового пистолета, надо, оказывается, накрыться с противником одним одеялом и только после этого пробовать. Тогда есть какой-то шанс, что получится.

Не выдержав взрыва информации, Гуля пошла на кухню оттенить кофе окурками из пепельницы, раз сигареты кончились. Ольга настигла ее вопросом: как можно курить окурки, а вдруг у предыдущего владельца были цыпки, ведь они не лечатся, так же как и СПИД.

Гуля решила досидеть до последней порции кофе, под конец ожидался пирог с лимоном. Но вовремя сообразила, что история использования цитрусовых, а также их корок может затянуться, если не перейти в рассказ о методах подводной охоты с оптическим прицелом. Ночью ей снились паутинные клещи. Они ходили по необтянутому дивану и стреляли из газовых пистолетов по непородистой овчарке.

– Ты помнишь Ольгу? – спросила Ирка через год. – У нее дела очень даже неплохо идут. Ухитрилась получить заказ на оформление интерьера двух квартир.

Вот это талант!

Длинный

От прочих людей Длинный отличался ростом метр девяносто пять, истовой любовью к кино и неукротимым невезением.

Работа по строительной специальности в крупнейшем проектно-институте открыла ему двери кладовой профсоюза. Профсоюз содержал в своих рядах более тысячи рядовых членов, площадку для игры в большой теннис, актовый зал и материально-техническую кладовую, забитую замечательными малоиспользуемыми вещами. Длинный предъявил права на кинокамеру, софиты, монтажный столик и железные коробки для киноплёнок. Невезение не иначе как находилось в краткосрочном отпуске после тяжёлых трудов, а может, напротив, проявило дальновидность и занялось долгосрочным планированием. Права на кладовую Длинный получил и принялся тотчас реализовывать. Он снимал прибытие и отправление поездов, открытие и течение собраний: профсоюзных, комсомольских и разных, лыжные соревнования и слеты молодых специалистов. Лампы перегорали, плёнка засвечивалась прямо в камере, штативы падали на выступающих ораторов, а сам Длинный получал дежурный втык от руководителя за постоянное отсутствие на рабочем месте. Дело шло.

Сложилась съёмочная группа, местами переходящая в актерскую труппу, снялись сами собой, вопреки невезению, несколько короткометражных фильмов. Впрочем, невезение выказывало деликатный характер и не наступало по-крупному, хотя старательно рвало плёнку на просмотре при полном зале, набитом членами профсоюза. Рвались толстые провода в надёжной изоляции, рвались из рук листы с раскадровкой, уносимые внезапным ветром на проезжую часть перед проектно-институтом. Рвался карман куртки, оставляя в лабиринте коридоров ключ от материально-технической кладовой. В женском туалете рвало даму, которую Длинный подпаивал на праздничном институтском вечере, но не рассчитал дозу. Длинный стоял у дверей на часах, осознавая ответственность, после долго выгуливал даму по холодку, предвкушая заслуженную награду. Отрезвев, дама по-английски смывалась с другим, оставляя Длинного разбираться с вахтером. Впрочем, Длинному не везло даже с чужими дамами. Однажды он доверил приятелю ключ от кладовой на время танцев, дабы тот имел возможность высказать своей симпатии накопившиеся нежные слова без посторонних помех. Кладовая от визита не пострадала. Но мотыль, дивный юркий мотыль, которого Длинный, по совместительству страстный поклонник зимней рыбалки, тетешкал в вазе для реактивов, отбросил красные хвосты и копыта. Друг клялся, что не имеет отношения к гибели мелкого многочисленного животного, но вспомнив что-то, слегка смутился.

– Понимаешь, э-э, моя дама захотела освежиться в этакой духоте, ну и мы, э-э, не знали, куда вылить воду...

Руководитель неуместно наседавал с рабочими чертежами, в то время как Длинный дремал за столом, накрывшись политической картой мира. Труппа потихоньку развалилась, институт редел и хирел, профсоюз держался до последнего, но кинокамера дала дуба. Длинный решил заняться профессионально своим любимым делом, пока не началась перестройка.

Тактичное невезение взяло следующий отпуск, и Длинный устроился руководителем киностудии того самого технического вуза, в котором учился.

Первое задание – съёмку овощебазы со студентами, перебирающими капусту, – он успешно провалил. Пока снимал в павильоне капусту, лук и студентов, все шло замечательно. Прихватили на выходе, снимать на базе возбранялось, объект относился к разряду стратегических. Ох, не зря наивные террористы прежних времен именовали снаряды и взрывчатку помидорами и даже менее экзотическими овощами. Плёнку отобрали и засветили бдительные охранники.

Но сросшийся с невезением Длинный спокойно переносил удары и шипки судьбы и делал свое любимое дело. В активе уже перекатывался ролик о выпускниках института, уже открылась стараниями Длинного студия мультипликации, как вдруг Длинному повезло. Один из снятых им документальных фильмов допустили к участию в престижном конкурсе. Длинный сомневался до конца, он не доверял будильнику, подозревал троллейбусы, косо смотрел на телефонный аппарат, но все препоны и опасности остались позади, ему сообщили, когда и куда, будильник прозвонил, троллейбус не сломался, Длинный не опоздал и доставил пленку по назначению. Ленту зарегистрировали, Длинный расписался в ведомости, умильно улыбаясь задремавшему невезению.

Оно проснулось, позже. Женский голос из телефонной трубки неумеренно искренно извиняясь, сообщил, что пленка с фильмом Длинного пропала. Вообще у них такого ни разу не случалось, и надо же так, чтобы именно с вами... Привезти копию Длинный не успевал. Копии у него попросту не было.

Сейчас, по слухам, он делает мебель в каком-то кооперативе. Когда я купила книжную полку неизвестного производства, развалившуюся под весом девятой, водворяемой на новое место книги, я поверила, что слухи небезосновательны. Только Длинный с его доверчивостью мог скреплять ДСП при помощи клея, без шпакля.

Большая большая премия

Мне пришло письмо на мыло. На электронный адрес то есть. От Василия Мастыркина. Фамилия мне понравилась сразу. Что-то она мне напоминала и вообще казалась смутно знакомой. Опять же, ссылаясь Василий на общего не очень знакомого знакомого – весьма симпатичного прозаика Сашу, чьи рассказы я читала. Речь в письме, как и во многих письмах ко мне, хронической устроительнице литературных вечеров, шла о презентации. Презентации Большой камчатской критик-критической премии имени братьев Мастыркиных. Вручать премию собирались, как было заявлено в послании, "легендарному Игорю Эн".

На всякий случай набрала в яндексе "Игорь Эн", убедилась – действительно есть такой, правда, критик "по кино". Тут я должна взять читателя за пуговицу, отвести в угол и честно признаться: кино для меня – полная лакуна. Нет, двух режиссеров, русско-советских, назову сразу же. Но, пожалуй, и все.

Загадочное название премии, возможность расширить и укрепить собственные кинознания да еще ряд сопутствующих положительных ассоциаций...

Конечно, согласилась на презентацию. Кто бы не согласился!

Содержание премии – два килограмма балыка и три бутылки водки – не удивило. Ну, во-первых, это убедительно, а во-вторых, премия имени Андрея Белого – вообще только одна бутылка водки, ну еще яблоко. В-третьих:

Два килограмма балыка
И три бутылки водки —
Первоклассная строка
Для метеосводки —

ну или "для швей-молодки". Вариантов много, рифма удобная.

В следующем письме Василий выразил свое удовлетворение и намекнул, что ожидаются Тот Самый петербургский Критик и одна моя коллега. Намек порадовал: чего не сделаешь для коллеги, а Того Самого Критика, вопреки заветам литературной общественности, слушаю всегда с удовольствием. Решила делать презентацию не в официальном Доме писателя, а в теплом и лояльном к живым литераторам Центре современной литературы, пусть даже это означает мой внеплановый выход на службу.

Несколько раздосадовало отсутствие отклика на разосланные приглашения на презентацию. Но классик предупреждал: публика – она, того... ей пошлость подавай. Тем паче Василий обещал, что придет камчатская диаспора – это словосочетание меня окончательно покорило.

Василий явился вместе с Игорем, того я узнала по фотографиям в Сети. Василий оказался весь мягкий и беззащитный: круглые очки с толстыми стеклами, мягкие движения, даже бритая голова какая-то мягкая. На ногах он тоже довольно мягко держался и не производил впечатления сурового камчадала.

Диаспора реализовалась как пара симпатичных дам, усевшихся рядом с Василием. Игорь сидел поодаль, он гораздо раньше меня сориентировался. У меня же первые подозрения явились, когда Василий, предваряя литературный вечер, выставил на стол водку. Две бутылки. И немедленно разлил, угощая прибывших.

Кто его знает, отчего, имея нешуточный опыт общения с пьяными, не могу определить сразу: эта мягкость, эти свободные речи и жесты объясняются просто. Ну да, предварительно и обильно выпитым объясняются.

Вести вечер Василий особо не стремился. Может, и стремился, конечно, но незаметно для меня. Он обсуждал с очаровательной диаспорой камчатского омуля. Ладно, не привыкать.

Работа такая. Задаю вопросы. Живет Василий, как выяснилось, аж за Петропавловском-Камчатским, в поселке. Интернета у него в поселке... Ну, не всегда интернет. Чтобы почитать статьи Игоря, специально ездит в город, где-то там, у всяких знакомых, останавливается, скачивает статьи, везет домой в поселок – читать. Придумывает премию братьев Мастыркиных (эх, про брата не успела спросить), покупает, а возможно, сам заготавливает балык. Ну водку точно покупает. И тащит все это – два килограмма балыка и три бутылки водки – сюда, в Петербург. Зачем? Какая сила влечет его? Куда несется? Не дает ответа...

Заготавливает для презентации представительскую речь в блокноте, но блокнот забывает. Напивается перед "мероприятием". Зависает в сортире. Мягкие руки хлопают по столу, толстые стекла очков беззащитно сверкают – ух ты, какая у вас люстра! В школе читал Маркса или Ленина, не помню, кого именно, тот и другой у нас в поселке были в библиотеке, там встретил выражение "критика критики", о-очень понравилось. Оттуда и премию придумал. А на русском языке уже вовсе нет смысла писать, все, что надо, написано Толстым и Достоевским. Нам новый язык создавать пора, новый русский, у нас же сейчас такой приток тюрков и других. Книжки пишутся только для того, чтобы на них критику писать, ведь критика – это коротко. Только критику читать и будут. Смысл в том, чтобы все стали критиками – процесс это.

Оглушительного обаяния человек, и про новояз дельная мысль, по-хорошему безумная. Только одна беда: на ногах мягко стоит.

Подошли новые силы камчатской диаспоры, не просто так, а с бутылкой виски. Игорь Эн сориентировался окончательно и удалился вместе с двумя своими гостями. Новая сила выглядела значительно и весомо, создавая устойчивое впечатление мужчины, одетого в красную рубашку, хотя, возможно, это не соответствовало правде жизни. Но кому нужна правда, не отражающая истину! Разили вискарь.

Надо сказать, я не всегда пью на службе, тем более на сей раз не предложили, но поддерживать разговор требуется в любой ситуации: литературные вечера, это вам не дансинг на "Красном треугольнике". Когда же в беседе наступил естественный перерыв, сопровождаемый глотательным процессом, вышла предупредить немного ошарашенных администраторов, чтобы в магазин "за следующей" не пушались. Воротившись, обнаружила на столе непочатые свежие следующие. Дух опоры на собственные силы, понятно. Все свое с собой. И хотя градус крепчать не мог, объем как понятие растяжимое увеличивался. На каждого выступающего. Извиняюсь, оговорила по привычке – на каждого участвующего в присуждении премии. О которой как-то забыли. Но забыли плавно. И мягко.

– Почему ты их не выгнала? – изумилась на завтра моя подруга и коллега Ирина, когда я посетовала, что полтора часа после появления свежих следующих бродила по залам и кафе, подгоняя взглядом стрелки часов и пугая администраторов.

...Круглые очки, так и не предъявленный балык, забытый блокнот, мягкие ладони на столе... Надеюсь, у него был праздник.

Это ведь надо не испугаться придумать свою премию, привезти ее в Петербург из поселка Вулканный. Что под Петропавловском-Камчатским.

Мало романтиков осталось. Трудно им.

Люди



Имечко

– Ребенка нужно называть семейным именем, – категорично заявила жена, – как звали кого-то из близких родственников. И потом, имя Валерий – такое красивое!

Володя был согласен на любое. С тех пор как у него появился сын, он соглашался с женой во всем, и так продолжалось уже пять дней. Жена сохранила присутствие духа и вообще реагировала на жизнь адекватно, а вот он, он все не мог осознать новое состояние. То, что он стал отцом, не укладывалось в голове, слишком неожиданно все получилось, хотя вроде бы было время подготовиться. Он даже не успел забрать ее из роддома, подвернулась крайне выгодная халтура, отец и теща справились без него. Конечно, если бы сына назвали Василием, как его отца, Володе было бы очень приятно, но не он же рожал, не он вынашивал ребеночка долгих девять месяцев, пока папа, то есть он сам, крутил фонограммы в театре.

Через пару недель Володя немного освоился, чему способствовал отпуск, и сообразил, что никакого Валерия ни в своей семье, ни в семье жены он не знает.

– Ой, отстань, – лениво сказала жена, пахнувшая молоком и свежим бельем. – Валерием звали маминого брата.

– Я никогда не слышал о нем, – удивился Володя.

Жена смущенно отвела взор:

– Ну что о нем говорить. Мы давно не виделись.

К трем годам сынишка Валера обнаружил недюжинные способности к вранью. Даже не способности, он врал органично, а вот с правдой у него не получалось. Врал родителям, бабушкам и дедушке, воспитателям в детском саду, врачам, друзьям по песочнице, пассажирам в троллейбусе, сантехнику, зашедшему в дом поменять кран, кошке и даже черепахе. Жена махала рукой, говорила: "Пройдет". К шести годам сыночек освоил kleптоманию. Пока речь шла о чужих игрушках, еще можно было терпеть, но в школе он принялся за чужие карманы, а как-то украл золотое кольцо у собственной матери. Жена задумалась. К седьмому классу ребеночек превратился в азартного игрока. Не было игры, которой бы Валера не освоил, а освоив, не принялся жульничать. Его выгнали из двух школ, поставили на учет в детской комнате милиции, после того как Валерик неудачно залез в чужую машину – kleптомания-то никуда не делась, и настойчиво советовали родителям показать мальчика психиатру.

Володя по-прежнему пропадал на работе, но однажды жена прихватила его тепленьким после командировки и затеяла серьезный разговор. На этот раз Валерик залез на порносайт, о чем свидетельствовал счет на сумму, превышающую годовую зарплату жены. Сынок, конечно, все отрицал.

– Милый, я ошиблась с именем для ребенка. Ты не слышал о моем дяде, потому что семья разорвала отношения с ним. Он игрок и лжец. Он проиграл бабушкины сапфиры, которые она сохранила в блокаду. Он подделал документы, продал нашу дачу в Ольгино и потратил деньги на певичку из мюзик-холла. Но мне нравилось имя... Я не знала, что с именем может передаться все дурное. Прости меня.

Жена расплакалась. Володя утешал. Настал его черед адекватно реагировать на жизнь и махать рукой. Но жена оставалась безутешна. Она рыдала на всю супружескую спальню, пока ее не осенило:

– Придумала. Надо поменять Валерке имя. Скоро он получит паспорт, заодно и имя поменяем. Назовем его Леонидом.

– Да Валерка в жизни не согласится. Он уже взрослый, как ты себе это представляешь? – возмутился Володя, но начал заражаться настроением жены. Через неделю нерешительно спросил:

– Ты имеешь в виду своего дядю Леню? Он какой-то непропеченный. Тогда уж назвать бы Василием...

– Твой отец выпивает, – мгновенно парировала жена.

– Ну тогда Николаем, как твоего.

– А мой что – не пьет, что ли? – справедливость жены не знала пределов.

– Поколение такое, – пояснил Володя. – Все пьют.

– Дядя Леня не пьет, – возразила жена. – Не играет, не врет и не ворует. И бабушку, маму свою, уважает.

– У тебя все продумано. Но Валерка все равно не согласится.

Сынок согласился легко. За сотню долларов, фирменные джинсы и новый велосипед. Загребев с этого велосипеда следующим летом, он сломал руку.

– Что значит родная кровь, – удивлялся дядя Леня, безропотно возивший племянника к врачу. – Я ведь тоже руку ломал, как раз в Валеркином возрасте.

– Не Валеркином, а Ленином, – привычно поправила жена и легонько побледнела.

Ко времени учебы в институте сынок прекратил лгать, воровать и играть в любые игры, кроме компьютерных.

– Вот видишь, – укорял Володя, – само все прошло, зачем было комедию ломать со смежной имени.

– С чего ты взял, что само? – усталая жена укладывала передачку сыну, лежавшему в Боткинских бараках с желтухой – как дядя Леня в свое время. Если сынок не ломал рук или ног, не цеплял гепатит и краснуху, то оказывался крайним для отправки в колхоз, в самую глубокую дыру на производственную практику, на внеочередное дежурство по общежитию. Боевой характер, присущий ему в школе, сменился безропотностью и привычкой к невзгодам. Дядя Леня, человек большой души, был законченным неудачником. Прежде жена не замечала этого, а теперь подолгу беседовала с дяди-Лениной женой и мрачнела все больше. Незадолго до того, как Леня должен был защищать диплом, она пристала к Володе с той же безумной идеей:

– Скоро Ленечка защищается, давай заодно поменяем ему имя, чтобы диплом выписали уже на новое.

– Ну ты даешь, – только и ответил Володя.

– А что ты думаешь, – взвилась жена. – Ребенка же отправят в армию.

– Других-то не отправляют, – защищался Володя. – У них же военная кафедра.

– У дяди Лени тоже была военная кафедра. Тем не менее отслужил – единственный из всего выпуска. А ведь в то время не было горячих точек.

– Но Ленке двадцать один год, у него уже связи завелись по будущей работе. Как он это объяснит? И как ты хочешь назвать взрослого, считай мужика, против воли, – Володя соглашался, сам чувствовал, что соглашается.

– Алексеем. Леша, Леня – почти одно и то же, и объяснять не придется. Главное, документы исправить. А друзья будут звать, как звали. Мальчик покладистый, не станет маму расстраивать, если я попрошу, согласится.

– Подожди-ка. Алексеем?

– Брат твоей матери. Не пил, не крал и удачлив был. Женщины его любили. А у нашего сыночка до сих пор нет девушки.

– Как же удачлив, если в двадцать лет разбился на самолете, забыла? – Володя занервничал, поверил вдруг в женины бредни, стало страшно за сына.

– Я все продумала, Ленке уже двадцать один. Он проскочил тот возраст. Видимо, среди пассажиров самолета оказался закоренелый неудачник, такой пропавший, что дяди-Лешино счастье перебил.

– Но почему бы не назвать сына нейтрально? Сама видишь, с родней у нас сплошные обломы.

– Нет, ребенка нужно называть семейным именем, – настаивала жена, и глаза ее сверкали, как двадцать один год назад.

Леонид выказал такое равнодушие к родительской затее, что те опешили. Ночью Володя не мог заснуть. Надеялся, что сын возмутится и вместе они уговорят мать не поддаваться суевериям. Минута слабости, когда сам согласился с женой, прошла, Володя не помнил ее принципиально. Он не спал и потому услышал, как в три часа утра сынок разговаривает по телефону. Наутро Леня попросил обождать с переименованием пару недель, потому что это совпадет с... он выдержал паузу и пообещал сюрприз. Жена схватилась за сердце и сообщила, что хватит с нее сюрпризов, наверняка Леня темнит, наверняка узнал что-то ужасное про армию. Но сынок заверил, что сюрприз окажется приятным.

В субботу Леня поднялся ни свет ни заря и умотал прежде, чем жена успела проснуться. Володя встал, побрился. Правильно сделал, вскоре Леня вернулся, да не один, а с девушкой, беленькой, худенькой и довольно хорошенькой.

– Знакомьтесь, предки, моя Анька.

Жена, не успевшая сменить халат на платье, смутилась и потому поздоровалась нелюбезно.

– Торжественно приглашаем вас на регистрацию нашего брака, которая состоится послезавтра по адресу...

Жена охнула и принялась сползать по стенке. Володя потянул нитку из рукава домашнего свитера, принялся наматывать ее на палец. Девица обернулась к Ленке и залопотала что-то, вроде бы на французском. Жена прекратила сползать, разгневалась:

– Молодые люди, извольте нормально разговаривать. Мы пока еще в России живем.

Леня засмеялся, ободряюще обнял девицу за плечи:

– Мам, Анька – она на самом деле Ани и плохо говорит по-русски. Только сегодня из Канады прилетела.

Жена заплакала и села на пол с размаху, не сползая.

Леня, переименованный в Лешку, улетал с молодой женой в Канаду. Его ждали новая работа и новая страна. Пока самолет находился в воздухе, жена молилась по псалтырю, на память молитв не знала. Лешка долетел благополучно, устроился хорошо, с Ани зажил замечательно. Только к родителям в гости никак не мог выбраться. Им к нему тоже не получалось, жили письмами.

– Вот мы и остались без сына, – всхлипывала постаревшая жена. – Все-таки нельзя было его так называть. Пропал ребенок.

– Глупости, – сердился Володя, – что значит – пропал, ему здорово там, не о себе думай, а о Лешке.

– Один к одному, – продолжала жена, – дядя Леша в двадцать лет погиб, а наш как раз в двадцать с Анькой познакомился, на фестивале. Надо было лучше имя искать, зачем ты меня слушался, настоял бы на своем, муж как-никак.

Через два года у Володи родился внук. Сын писал, как они искали имя для ребенка. История со сменой имен мужа развеселила Ани, но махровое суеверие далеких родственников заставило отложить приглашение и перенести их вызов на некоторое время. Ани боялась, что бабушка с дедушкой плохо повлияют на маленького Валерика. Так назвали внука, имя выбрала Ани, хотела сделать мужу приятное. Молодые родители тряслись над сыном, психика у того оказалась неустойчивая, зато проявилось устойчивое пристрастие к ювелирным изделиям. В годовалом возрасте Валерик стащил бриллиантовую брошь у крестной матери, а кидая монетку в церковную кружку, другой рукой немедля выгребал три, пока еще он не удерживал больше.

Дар непонятого сердца

Из всех старых вещей только люстра имела право на существование, в том случае если Салли обратит на нее внимание. Салли не сводила с люстры глаз, хотя посередине гостиной прямо на ковре возвышалась целая гора вполне достойных внимания забавных и милых вещей.

Елочная игрушка в виде люстры, неяркая, из потускневшего серо-жемчужного стекла, украшенная висюльками запылившегося изнутри стекляруса, лежала чуть-чуть в стороне. Сорок минут, с семи пятнадцати утра до без пяти восемь, он потратил на это "чуть-чуть". Получалось то слишком близко, так что люстра терялась среди ярких шелковых лоскутков, выпуклых прихотливых пресс-папье, розовых и зеленых пепельниц из природного камня, ни разу не использованных по назначению, тяжелых латунных подсвечников, то слишком далеко, что выглядело явным намеком. Опускаться до очевидного символизма он не хотел ни в коем случае, двигая игрушку по ковру сорок минут туда-сюда, пока не нашел то самое "чуть-чуть". Тело люстры состояло из двух шаров, верхний поменьше, нижний – побольше, шары скреплялись четырьмя стеклянными трубочками, одна из которых была раздроблена, и на проволоке, пропущенной внутри, болтались обломки с неровными краями, не длиннее бусины стекляруса.

Салли сидела на неудобном диване с деревянной высокой спинкой, не заботясь о том, чтобы хоть как-то скрыть свое напряжение. Щеки ее слегка запали, уголки глаз словно бы подтянулись к вискам, отчего сами глаза казались темными. Но глаза у Салли серые, он знает. Светло-русые волосы, тонкие и не слишком густые, больше не прыгали на плечах, а томились на хрупком затылке, стянутые старомодным безвкусным узлом. Салли вцепилась пальцами в жесткий подлокотник, ногти ее были обгрызены, почти как тогда, ему показалось, что он даже различает следы чернил на большом и указательном пальцах. Лишь большая и тяжелая грудь, единственное, к чему он оказался не готов, слишком большая, слишком тяжелая для ее хрупкого тела, сохраняла презрительное спокойствие. Может быть, это из-за беременности, но талия оставалась по-прежнему тонкой, даже тоньше, чем раньше. Если бы он не знал точно, не навел справки, никогда бы не подумал, что Салли беременна. Она не изменилась, те перемены, которые произвели бы впечатление на другого, для него служили лишь доказательством того, что время, общее время его и Салли, по-прежнему не движется.

– А помнишь, – подруга, которую Салли взяла с собой, чтобы чувствовать себя увереннее, назвала Салли ее настоящим нелепым именем. Он помнил и эту подругу, вот она действительно изменилась за истекшие семь с половиной лет, превратившись из некрасивого подростка в некрасивую, но уже по-другому, девушку. Подруга оживленно заговорила, показывая костлявым подбородком на игрушечную люстру, – помнишь, как ты разозлилась, чуть не подралась с Рыжим, когда он разбил эту хрень?

Салли пожала плечами и наконец-то взглянула на него. Не в глаза, нет, шевельнула ресницами в сторону его галстука, спохватилась и уставилась на свои пальцы, все сжимавшие подлокотник. Осторожно пошевелила пальцами, по очереди: указательный, средний, безымянный не двинулся, мизинец. Проверяла, должно быть, не выросла ли в старей диван.

– Так-таки ничего не хочешь взять на память о доме? – он спросил легко и непринужденно. Что в этом такого, обычный вопрос. Дом продается, он только что сообщил Салли об этом. Она родилась и провела здесь свое детство, можно сказать, начало юности. Жила здесь еще на заре юности. Почему не говорят "на восходе юности"? Он действительно очень спокоен, если способен размышлять о подобных глупостях, сам от себя не ожидал. Но что там Салли?

– Нет, спасибо, – Салли отвечала кратко.

Сломанная елочная игрушка сиротливо блеснула жемчужным боком и угасла в темноте, когда свет в гостиной погасили.

.....

Он не останется умирать здесь, в доме, так и не ставшем своим, в городе, где все помнят его стремительное восхождение, завидуют ему и нетерпеливо, с радостью и злорадством ждут его крушения. (Как оживились они, забегали и засуетились, еле прикрывая удовольствие набрякшими от неутоленных желаний веками, когда рухнул отец Салли, его компаньон и учитель, предавший его в конце концов.) И в этой стране, ставящей все с ног на голову, извращающей нормальные человеческие отношения, опошляющей любые чувства, кроме зависти и угодничества, он не останется. Уедет на какой-нибудь маленький ласковый островок, в частный санаторий, где его никто не знает и никому нет дела до того, насколько быстро он разбогател. Он богат и может позволить себе прожить причитающийся остаток жизни в удовольствии и относительной роскоши. Лишь удлинить срок он не может. Осталось недолго. Консилиум из самых известных белых халатов подтвердил диагноз, давным-давно поставленный уездным докторишкой. Но тогда он не поверил. Тогда он был молод, а Салли еще жила со своим отцом в этом доме, никто не помышлял о крахе. По праздникам весь город выстраивался в очередь у дверей, чтобы выразить почтение и удовольствие. У него не было денег вовсе, и он не мог делать подарок Салли. А ей хотелось подарков. Любому ребенку хочется подарков.

Санаторий на ласковом острове съест небольшую часть капитала, так что денег хватит. Нет, никакой помпезности, никаких роз, не дай бог, орхидей, она все равно не понимает в них. Что-нибудь очень простое, но красивое, львиный зев, например, душистый горошек, вот-вот, разноцветный душистый горошек в шелковой синей бумаге. Пусть цветы меняют каждый день. Разумеется, на розы его денег могло бы и не хватить. И использованные букеты, высохшие хрупкие трупики, шуршащие блестящим шелком, можно складывать за хранилищем, устроенном в бывшем доме Салли, комната довольно большая.

Как Салли относилась к нему все те годы, что они не виделись, со дня похорон отца? Наверняка ее отношение менялось. Откуда – куда? Что она почувствовала, узнав, что именно он покупает ее дом? Поверила ли тем слухам? Считает ли его виновником краха? Одним из виновников? А ведь безусловно знает о том, что ее отец подставил его, давно, чуть ли не в самом начале. Дети понимают гораздо больше, чем кажется взрослым, да и не ребенком она была, подростком. Заваленным дорогими подарками подростком. Сегодня Салли не может купить даже приличную обувь, туфли, в которых она пришла, потерлись на носках. Да еще нелепый брак и беременность. Подкупить ее врача оказалось намного дешевле, чем можно было предположить.

Хранилище он уже оплатил на девятнадцать лет вперед. Цветами займется завтра с утра. Через девятнадцать лет, когда ребенок Салли родится, вырастет и перешагнет порог совершеннолетия, его разыщет доверенное лицо и объявит о праве вступления в наследство. И тогда при свидетелях будет открыта стальная дверь, обитая деревянной рейкой, и счастливый наследник станет обладателем серой сломанной люстры, елочной игрушки, подаренной им Салли на последнее общее Рождество и букетов, скопившихся за девятнадцать лет к игрушке в придачу.

Петр

Поначалу Петька не слишком отличался от сверстников. Тощий, белобрысый, с выгоревшими до такой степени бровями, ресницами и глазами, что на лице был заметен только нос, вообще-то маленький, но в крупных конопушках. Учился Петька из рук вон плохо, но так в поселковой школе учились многие. Старшие его братья и сестры тоже не блистали хорошими оценками, но едва дотянув до восьмого класса, норовили перебраться в город. Петька так и остался с матерью, к тому моменту все уже поняли, что место подсобного рабочего в магазинчике, где работала Петькина мама? – большая удача и отличная карьера для него.

Он таскал ящики с вермишелью, сухим киселем и мыл полы, став в этом деле крупным специалистом. Хитрость в том, что надо не лениться и мыть из двух ведер: сперва очень мокрой, после хорошо отжатой тряпкой. И все довольны.

Свободное время Петька проводил на озере. Друзей в поселке у него не осталось, либо разъехались, либо заняты по хозяйству, и сторонились его бывшие друзья, скучно им было с Петькой, что ли. Польет Петька грядки в огороде, помоем матери полы как профессионал – и на озеро. Без удочки – червя он так и не научился толком насаживать, больно черви вертлявы, а крючок маленький и царапается, – так бежит, посидеть на берегу, в воду посмотреть. Кажется Петьке, что там, в воде, жизнь привольная, люди живут добрые, водяные, никто не дразнится "дурак, дурак", чипсов от пуза и лимонад "Колокольчик". Петьке частенько перепали чипсы в магазине, но пакетиком разве наешься?

Сидит на берегу, вода мягкая, маслянистая к руке, коричневая от торфа. Мальки носятся стайками, выпрыгивают из воды, играют. В тени от козлятника, козьей ивы, шуренок стоит. Какой малек зазевался, шуренок его – хап, как чипсу, и все. Над водой крачки носятся с раздвоенными хвостами, тоже мальков жрут. И Петька похрустывает пакетиком. Два раза руку запустил – уже пусто. Потом, если ветер на озере, пакетик шурша до воды долетает, бьется на мелководье, как пестрый плотик, переливается серебряными искрами. Если нет ветра, так и лежит рядом, лезут в него рыжие голодные муравьи – жрать крошки. Узнать любимое Петькино место на берегу нетрудно, там блестящих оберток набралось – пропасть, красиво, как они в козлятнике шуршат и сверкают на солнце.

А еще Петька полюбил радио слушать. Утром в магазине народу нет, моешь полы, а радио играет музыку, поет, не то рассказывает что-то полезное. Жаль, понять не всегда удается, но что полезное – факт, стали бы по радио глупости говорить, как же. И вот Петька слушает передачу и вдруг все понимает, так толково радио ему рассказало об окружающей среде, а среда эта – то же озеро Петькино. Так радио объяснило: дескать, твое озеро и есть и как эту среду беречь и охранять надо. А что на берегу пустые бутылки и обертки, это вовсе не красиво, а плохо и безобразно. Пивные бутылки Петька и раньше собирал, в магазин носил, мать за это ему чипсов или лимонаду. А пластиковые не принимают, их Петька не трогал, какой смысл. А смысл-то есть, потому что озеро, среду свою, беречь надо. Петька отрекся от старых привычек, все ему в другом свете увиделось.

Перво-наперво собрал все свои пустые пакетики по кустам, хоть поначалу и жалко было, собрал и сжег. После в азарт впал, обошел озеро – а по зарослям пробираться не шутка, – обошел, подобрал чужие обертки, мешки и пластиковые бутылки. Несколько дней на это угрохал, но чисто в среде стало, как в магазине. А после наступила суббота. Понаехали на озеро компании на машинах: костры жечь и колбасу на палочках жарить. Петька любил субботы: в магазине покупателей больше, мать довольная, уже с обеда пьяная, работать не заставляет. На озере можно много интересного увидеть за кустами, иногда и разжиться чем: теряют приезжие. Часы и деньги реже, одежду часто.

В эту субботу Петька не за кустами подглядывал, хотя видел, как туда удалились двое, Петькиного возраста, парень с девкой; больше следил: много ли мусора оставляют за собой компании. Домой можно не торопиться, мать примет еще бутылочку и завалится спать до воскресенья. А чего ей не спать, коровы-то они не держат. Мать у Петьки строгая, пьет только по субботам, в остальные дни ему нельзя поздно приходить – прибьет. Мусора оставили порядочно. Петька еле дождался конца работы в воскресенье – побежал убираться и жечь. Прибежал, а на озере новые компании сидят... В понедельник лишь управился. Хорошая жизнь пошла, насыщенная, деятельная.

Но пришел июль, а с ним жара. Компании сидели на берегах не только в выходные, а с утра до вечера в будни. Даже в кустах скапливались бутылки. Петька не успевал. Вместо удовольствия он ощутил раздражение, а к концу недели – злость. Злиться Петька до этого не умел. От злости уставал и расчесывал коленки до болячек. А компании все ехали на своих машинах, мусор копился, так, что даже к воде стало трудно подойти: то разбитая пивная бутылка, то журналы изодранные, то бумажные тарелки с остатками еды. И не видно привольной волшебной жизни в озере, не добраться до той, другой водяной страны через бутылки и белые стаканчики.

Те, которые на машинах, гоняют Петьку, чтобы не жег мусор, не вонял, не мешал культурно отдыхать. Пробовал он несколько раз объяснить про окружающую среду, приохотить отдыхающих к своему занятию – не справляется ведь один. Какие смеялись и ругались обидно, а какие и тумачом угостили. Зарекся Петька.

Вот сидит он в воскресенье на берегу рано-рано, еще и работа в магазине не началась. Успел уже убрать чуть не пол-озера. Спуск к воде, самый хороший, где песочек на дне, расчистить. И голова такая ясная, думается легко, не как в школе. Понимает Петька, что скоро приедут машины с тарелками, бутылками, людьми и снова все покроют ровным слоем мусора, к воде опять не пройти. И тут он правильно быстро соображает, что надо делать. Лезет в кусты по топкому илу, находит крепкий мешок с ручками, с надписью непонятной, складывает туда ключи от озера (остальным-то невдомек, что осколки – это ключи), снимает джинсы, найденные на берегу в прошлом году, и идет по песочку прямо в воду – по самую шею. И, медленно пятясь к берегу, аккуратно выкладывает на озерное дно крупные осколки бутылок, толстые, острые с неровными краями. Хорошо, часто выкладывает, а у берега чуть углубляет в песок, чтоб не видно было тем, кто купаться пойдет. Петькины это ключи, и ничьи больше. Никто не догадается, пока в озеро не полезет, что заперто. А уж полезут, так сразу поймут про среду и про ключи.

Учитель

Разве можно сказать, что твоя жизнь не сложилась из-за него? Ну, во-первых, она сложилась. Так или иначе. Как складываются-раскладываются карты на столике вне зависимости от того, сошелся ли пасьянс. При чем тут этот старик с пухлыми коленями сластолюбца, плешью и тонким длинным членом? Весна в семнадцать лет не отличается от весны в шестнадцать. Те же вишни в цвету, соловьи, рассеянный городской гомон, люди, коих не замечаешь. Экзамены. Нет, экзамены – нет, экзамены отличаются. В шестнадцать они последние. Условно последние, ты пока еще не думаешь о следующих. Куда деваться после экзаменов? Если сверстники раздражают. Потому что не принимают тебя всерьез, не зовут покататься на кораблике в избранной компании самых... надутых, самых благополучных, самых пристроенных – в будущем – благодаря широким и крепким родительским спинам. Куда же деваться? Покуда они пьют на палубе оплаченного отцами кораблика сладкое и тягучее красное вино, тискаются на ветру, а после неукротимо извергают содержимое желудков на свежие прохладные и плоские, словно вырезанные из серо-голубого картона, волны, ты бредешь – куда?

Домой нелепо, так рано тебя не ждут. К подруге? Так ведь нету подруги. Ты идешь к нему, немного равнодушно понимая зачем. Покупаешь дешевое, тоже красное и сладкое, пенистое вино в первой попавшейся по дороге лавчонке, пушистые теплые персики, сыр. Идешь.

Надо сказать, он относится с пониманием. Нет! Никакого вина. Дефлорация – дело серьезное. Неважно, что твои соученики давным-давно распрощались с девственностью. Они же проделали это без понятия, с такими же неопытными, как сами, ровесниками. Но у тебя соблазна не возникло – никто не соблазнял. Так уж лучше с ним, чем никак. Пора. Экзамены позади.

Хорошо, что это, если по-честному, неэстетичное действие быстро кончается. Можно перейти к вину. Принесенное тобою вино он пьет с удовольствием, и это счастье. Ведь ты его действительно любишь. А то, что сладостный, если верить обрывкам разговоров твоих самонадеянных сверстников, процесс не доставил тебе удовольствия, только неловкость и слабенькую боль, – не его вина, твои проблемы. Шумит ветер за закрытым окном, осыпает вишневый цвет. Кораблик с соучениками гуляет где-то по волнам, недалеко от центральной пристани.

В конце концов, им, на кораблике, сейчас гораздо хуже, чем тебе. Много ветра, много вина, а еще больше глупости. И бессмысленных споров, и бессвязных речей. А он умеет говорить. И даже слушать.

Только он, первый из всех, да ладно – единственный, объяснил тебе, как много ты можешь. Как отличается то, что ты можешь, от слабых потуг твоих соучеников. Поверилось не сразу, но он умеет найти доказательства там, где другие видят лишь нарушение логики. Он же – Учитель. Как же ты забываешь главное? С этого следовало начать. С того, что он – Учитель. Непревзойденный. Хотя и неизвестный, что странно. Ну в масштабах города неизвестный. А в близком окружении – вот, в близком окружении все завидуют и удивляются. Как? Как ему удастся добиваться таких успехов от своих учеников? Может, он кормит их специальными витаминами? Поит молоком сказочной козы Амальтеи? Почему с молодых ногтей его избранные ученики проявляют чудеса самостоятельности в суждениях, откуда у них эта легкость, виртуозная техника в споре, непринужденность и божественная свобода? Да хоть тебя взять! Куда девается замкнутость, неуклюжесть, страх перед насмешкой невежды – едва дело доходит до Предмета? Ты паришь стремительней стрижа, играешь привольнее ветра, пьянишь сильней вина.

Ты знаешь ответ. Он очень простой. Почему? Да потому, что ты делаешь это для Него и только для Него. Поэтому легко. Все остальное, все, что ты делаешь для родителей, знакомых,

для себя, наконец, – тягостно. И как следствие – неуклюже. Потому что неуклюжесть – вовсе не твоя отличительная черта, лишь следствие скуки, чего другим не понять.

Но что там с твоей жизнью? С внешней, после осыпавшихся вишен и вернувшегося к центральной пристани выпускного кораблика? Соученики вступают в брак, заводят детей и всякие скучные дела. Твои родители отплывают на лодочке с пятакон, зажатом в правой ладони: заплатить последнему перевозчику. Следующие вишни отцветают все быстрее, обгоняя черемуху, зимы, напротив, удлинняются. Но это – внешняя жизнь, тебя не касается. Ты по-прежнему номер один у него, Учителя. Никто не может, не владеет Предметом лучше тебя. И периодические постельные забавы учителя с другими избранными им учениками, даже великовозрастными, тебя не волнуют: ревность нелепа, а жизнь тиха и гармонична. Пока не появляется этот мальчишка, сопляк, на десять лет младше, белокурый, как продажная девка, волоокий, томный, как стельная корова. Можно пережить, даже легко, что теперь учитель сжимает его бедра своими пухлыми коленями – раз в неделю, по вторникам, подумаешь, не жалко. Но он, этот смазливый и волоокий, претендует на номер один в овладении Предметом.

И Учитель подтверждает претензию. Так.

Ты уходишь, исчезаешь, занимаешься другими незаметными мелкими делами, краткими, пресными, как стежки белошвейки. Стежки плотно прилегают друг к другу: год, другой, десять. А дети соучеников уже выросли и – округ-то небольшой – в свою очередь отправились к Учителю. Вот-вот для них поплывет кораблик со сладким вином, зацветут вишни...

Ты начинаешь думать о собственной жизни, лет тебе пока еще не столько, чтобы не догнать черепаху; ты еще можешь начать другую свою жизнь или вернуться и бросить эту, старую и выцветшую, в пухлые ревматическими колени – я возвращаюсь! Все равно, под каким номером. Возьми меня. Сперва так, а после обратно, навсегда!

Иной раз ты думаешь, что лучше бы он умер, уплыл на лодочке с пятакон в правой ладони, избавив тебя от выбора. И нечаянно догадываешься: выбора можно избежать, придумав все заново. Тебе не надо убивать Его, лишь написать нового Учителя, ведь ты же по-прежнему номер один в Предмете, ты-то знаешь.

Разворачиваешь чистый лист, его девственная белизна наполняет твою строгую комнату прохладным ветром и свежестью едва распустившегося вишневого цвета; не задумываясь, выводишь заглавие: "Диалоги". Слова множатся, словно их выносит на новый лист весенним ветром, бегут, подгоняя предложения отстающих, придерживая точками не в меру яростных.

Пройдет весна, и другая, и сотни таких весен. Сгниет последний в округе выпускной кораблик, уплывут с Хароном праправнуки твоих соучеников, и семьи их, и овцы их, и утки, и черепахи. Никто не вспомнит – не вспомнил бы – твоего учителя, кабы не твои "Диалоги с Сократом", где ты не пожалел слов даже для того, чтобы обустроить в чужой грядущей памяти закуток тому волоокому мальчишке, Алкивиаду. Или, наоборот, убил мальчишку, сочинив заново...

Значит, он, Учитель, все-таки научил тебя?!

Назови меня

Первым был Жувачка и карандашик для век.

Карандашик он, наверное, позаимствовал у мамы или старшей сестры – слегка сточен. Все-таки у сестры, дешевый потому что. Карандашик дешевый. Это в шестом, не то седьмом классе. Жувачка Карандашик высокого роста, иначе бы я не клюнула. А рот у него маленький, туго собранный, как розовый помпон. Мы даже не целовались, держались за руки в кино и прижимались друг к другу коленями и плечами. После не помню. Куда-то он делся. После было много Книг, некоторые даже сохранились. Китайские турецкие Тени, мыльные Помады, левые Пудры, Ремень, да, кожаный красивый – с этим целовались, ну с Книгами тоже, впрочем; слюнявыми детскими поцелуями.

Моя девственность досталась Колготкам с черными розочками. Это первая. Я дарила ее трижды, пока не поняла, что подарок сомнительный, ценности не представляет. Это не сложно – подарить девственность, но негигиенично. Вот Браслетик она бы пригодилась, но я была не готова. Выпила перед праздником – Алые паруса, все выпивали. Белые ночи, Стрелка Васильевского острова. До Дворцовой не добралась. С непривычки затошнило, очередной Помада, из параллельного класса, куда-то делся; забрела на Менделеевскую линию в поисках кустиков, а тут – Браслетик. Ну Браслетиком он стал наутро, а тогда, ночью, посадил меня в машину, отвез к себе, напоил чаем; но меня все тошнило, потому и говорю – не готова была. Утром, конечно, поздно, уже не исправишь. А он достает красивый довольно-таки большой браслет с синими камушками, я думала – золотой, оказался просто позолоченный. Но мне понравился. Сам Браслетик был как раз маленький, но тогда мне это уже не мешало. Маленький, с редкими волосиками и неровными зубами, и пахло от него влажной пылью. Он, кстати, первый из тех, кто хотел на мне жениться. И дарил уже не золоченые браслеты, а что-то стоящее. Но сперва-то – дутый браслетик.

Я сделала его счастливым: почти год – так, а после четыре месяца жили вместе. Уже через месяц поняла, отчего он пахнет пылью, дело не в возрасте, около сорока ему, – уныл и податлив, как тряпка для уборки. Мама убивалась: Браслетик представлялся ей идеалом – ну! продукты возит (маме), предлагает руку-сердце (мне), хорошо (по ее меркам) зарабатывает.

Когда появился Сумка от Гуччи, я вздохнула с облегчением. Смешно, что он вручил свой первый подарок на приеме, устроенном Браслетиком в его честь, условно, конечно. Сумка считался научным руководителем Браслетика. Он был еще старше, но много импозантнее, с густой седой гривой изрядно длинных волос и разбойничьими усами, а пахло от него хорошей туалетной водой. Он мне в общем-то нравился. Правда, хоть и не мне о том говорить, раздражало, что всему тотчас определял свою цену – а я помнила о первом подарке-сумке, стало быть, так меня оценил. Но секс с ним был приятный и необременительный, а секс – это беда, раздражает, дело такое. Сумка пристроил меня в институт учиться и на квартиру к своей, быть может, родственнице. Мы виделись хорошо если два раза в неделю, а то и раз. Хватало времени на другие мелкие Подарки, но на их площади. С быть может родственницами неудобно – заложат, как пить дать. Зато Сумка часто водил меня в рестораны, театры и на настоящие приемы.

Вот с одного из таких приемов, устроенного каким-то арабским представительством в честь выставки их золота в Эрмитаже, я и ушла с Зажигалкой. Бизнесмен Зажигалка не жалел денег на мои тряпки и путешествия, но я никак не могла забыть первого подарка – разовой зажигалки. Ну, и фантазии у него случались дурацкие: то экстремальный секс в самолете, то свари ему украинский борщ со шкварками – гадость какая!

Мама к тому времени махнула на меня рукой и угрожала завещать квартиру свидетелям Иеговы. Хотя я успевала в институте довольно хорошо, практически без троек и, главное – сама, на взятки преподавателям не тратилась. А на преддипломной практике своими руками

выбрала Айфон. Буквально выпросила, пока брала интервью, да он и сам был не прочь. Айфон служил в городской администрации, и вопрос с моим трудоустройством плавно перетекал в восклицательный знак. Айфон снял для нас отдельную квартиру без всяких родственниц, но мог наведаться в любое время, так что от других Подарков пришлось отвыкать, даже от разовых. Хотя я была не в обиде. На смену Праге Зажигалки пришла Ницца, а борщ, коли возникла нужда, готовила Люся, приходящая два раза в неделю на хозяйство. Я так расслабилась, что стала подумывать, не родить ли мне маленького Айфончика, еще пара лет, и двадцать пять стукнет, а там – ну нехорошо уже там. Глядишь, оставит он свою старую во всех отношениях семью, а я сделаю его счастье на достаточно долгий срок, во всяком случае на тот срок, пока не встану на ноги совершенно крепко. Не успела подумать – вот, сразу и задержка; обрадовалась, дурочка. Айфон задумался, взгрустнул. Но колечко с бриллиантом подарил, на карат – как для помолвки. А у меня температура высокая, и "скорая помощь", больница, гинекология, диагноз-если-по-человечески – воспаление матки, стерва-врачиха говорит, партнеров надо аккуратнее выбирать.

Из больницы меня забрала мама. Спасибо, что забрала. Спасибо Айфону, что предупредил ее, мог бы и не позвонить.

А ведь у меня вправду никого не было, кроме него, в то время. Вправду.

Это другая болезнь начиналась, но кабы знать.

Полтора года проболела. Три операции. Полгода в себя приходила. Подурнела, похудела, ногти стали слоиться – не отрастишь. Александр Степанович, мой хирург, говорит, что-то вы, голубушка, духом пали! А вот я вам китайский амулет подарю, на счастье и здоровье!

Но это же мой врач, он же меня в прямом смысле изнутри видел – как подарок возьму?

Иду после консультации от Александра Степановича к метро "Озерки", район чужой, знакомых не встретишь, а значит, плачу, не стесняясь. Снег вдоль дорожки ноздреватый, в синеву. Ларьки какие-то, много их. От ларьков мне навстречу с длинной челкой в джинсовой куртке: девушка! Не плачьте! Он того не стоит! Вот, возьмите вместо цветов! – протягивает смешной такой леденец на палочке, но не чупа-чупс. Долго думала, как его назвать, но, кроме Сладость моя, так ничего и не придумала. Я ведь даже имя его помню, но зачем.

Он целовал под ключицу, не там, где они сходятся, а только справа, в ямку, где ключица от плеча отходит. Всегда справа. После того, как я улетала в его объятиях. И я не притворялась. После него за всю жизнь, может, еще пару раз не притворялась, если не путаю.

Мы у мамы моей жили. Она ворчала по привычке, но ничего. Не зарабатывал, не умел. Ладно бы художник какой или еще что. Так не зарабатывал. Устроится, несколько месяцев продержится – скучно. Жизнь, говорит, маленькая, что же я буду ее на бумагу в конторе переводить, или – на мобильные телефоны, или – на чужие автомобили.

У меня на счету в банке еще оставалось, но в банк я не ходила, не стоило. Сладость моя, говорю, поехали к морю! Лето наступает, мне совсем-совсем на море надо!

Конечно, поедем! Я знаю, у кого палатку одолжить! До Москвы можно на электричках, а там – автостопом.

Тут уж мама моя вмешалась, кричала про больного человека, всего разрезанного-перезанного, да. На меня то есть намекала. Он задумался, чуть не неделю ходил плавный. Через неделю приносит три купюры по сто евро. Гордый – куда там! Триста евро мои летние сапожки стоят, не самые парадные. Бежать надо, иначе не выживу. Последний раз поплакала, когда под ключицу целовал, "Сладость моя", – шепнула. А утром сходила в банк и, не возвращаясь домой, уехала к морю.

Полгода почти прожила там, сперва одна, после с Нелепыми часами, но фирменными. Вернулась маму успокоить и тотчас встретила Ключика. Ну это я уже выздоровела, загорела и сильно хорошо выглядела. Чудо, что и говорить: чтобы барышне квартиру подарили, постараться надо, а я не особенно старалась. Зато сделала для Ключика исключение, первый его

подарок был невнятный какой-то, ключ только через месяц преподнес, но – произвело впечатление.

Долго мы с Ключиком прожили, но не расслаблялась, повзрослела. Никаких маленьких Ключиков в перспективе не планировала. Интерес к посторонним Подаркам практически утратила, так что не пришлось напрягаться, чтобы ненароком не изменить. Лет семь-восемь назад показался бы мне Ключик противным, сейчас же – одинаковым.

Мама сильно постарела, стала похожа на мультяшную ведьму, все вещала – подожди, пройдет время, сама станешь им подарки покупать, и пойдут у тебя сплошные Галстуки, Рубашки, в лучшем случае Зимние шины. Ты ведь скуповата.

Время прошло. Я мало изменилась. Галстуки не появились. Но и Ключиков больше не наблюдается. Браслетиков-то при желании нашла бы, но нет желания. А счет в банке неплохой. Ну и без дела не сижу, не журналистика, разумеется, несколько салонов красоты завела, все занятие. И волосы самой красить не приходится.

А они со мной. Все-все, даже Жувачка Карандаш. Разве только некоторые из Книг потерялись. Все лежат в специальных витринах, на заказ сделанных, – в моей памяти. Только Сладость моя – исчезает. Леденцы кончаются, даже если их облизывать всего лишь раз в месяц. Как и не было.

Когда останется одна тонкая деревянная палочка, на улице будет лежать синий ноздреватый снег и он выйдет мне навстречу из-за ларьков. Жизнь – она полна подарков, хотя удивительна не этим.

Как он называл меня?

Массажистка

Андрей Степанович лежал на расстеленном прямо на полу одеяле в одних плавках и старался отвлечься. Тело одеревенело от неловкости, старенькие плавки, с трудом обнаруженные в шкафу под грудой свитеров, стискивали ягодицы.

Очередное "расслабьтесь, пожалуйста" придало Андрею Степановичу решимости, и он уж совсем было собрался сказать, что следующего сеанса не нужно, но сообразил, что следует все-таки дождаться окончания этого, а потом, в коридоре, когда будет прикрыт хотя бы халатом, отменить курс приличнее и удобнее. Сообразив это, он внезапно успокоился и наконец-то расслабился. И даже перестал представлять – ведь глаза были закрыты, – как девчонка ползает на коленях вокруг его синеватого тела, наклоняется, чуть не касаясь грудью, как двусмысленно и вместе с тем нелепо все это должно выглядеть со стороны. Можно себе представить, какое впечатление произвели на нее его тощие руки и кожа, щедро покрытая пупырышками.

Девчонка велела перевернуться на спину, надавила на грудь локтем или коленом, Андрей Степанович не понял чем, и надолго замерла. Что она, рассматривает его, что ли?

– Каналы у вас совсем забиты, – сказала девчонка. – Завтра грудь поболит, но вы не бойтесь. Послезавтра мы все снимем.

Она уже сама все решила про послезавтра. Каналы! Какие к черту каналы! Массажистка, свихнувшаяся на эзотерике, – этого ему только не хватало. Полоумные приятели Николая, бредни в студенческом кафе, ахинея, летящая с голубого экрана, – раздражали, но не касались его лично. Но массажистка! На что он, дурак, рассчитывал, клюнув на объявление в газете? Да еще выбирал по имени, Алеся ему, видите ли, понравилось, ведь не девушку по вызову искал, а медика, того, кто поможет. Но представить себе мужчину, трогающего его тело, Андрей Степанович совсем уж не мог. Сейчас он с ней распрощается и – привет.

В коридоре он не сказал ничего, кроме "до свидания".

Грудь болела невыносимо, не иначе как девчонка что-то повредила ему, может, уже началось воспаление надкостницы. Как же он, разумный человек, не проверил, кому доверился? А как проверить? Не диплом же просить предъявлять, в самом деле? Да что диплом, главное – практика. Какая у нее может быть практика, если она выглядит не старше его студентов. Хорошо, если учится в каком-нибудь училище, но скорее всего ведет ее один из самодеятельных "гуру", учит "каналы чистить". Надо позвонить и отменить завтрашний сеанс, пока не поздно. И сходить в поликлинику. Высидеть очередь, выдержать раздражительность невропатолога и добиться записи на настоящий массаж. Раз по-другому не получается.

Почему-то не позвонил, не отменил сеанс.

Девчонка помазала ему грудь пахучей мазью, помяла ладошкой, и боль не то чтобы совсем прошла, но затихла.

– Алеся, – в первый раз обратился к ней по имени Андрей Степанович, – может, мы займемся поясницей?

Пока она разминала ему спину, решился и спросил, подъезжая издали:

– Тяжело, наверное? Сколько за день у вас клиентов бывает?

– Пациентов, – поправила Алеся. – По-разному. Сейчас много. Весна, обострения.

– А давно вы этим занимаетесь?

– По-настоящему практикую пять лет. До этого три года стажировалась.

Андрей Степанович принялся высчитывать возраст Алеси, хотел спросить, где же она стажировалась, и незаметно для себя задремал. Сквозь сон он слышал, как ему обещали незначительное обострение, мышечную боль и улучшение после третьего сеанса.

Встречая Алесю в коридоре, Андрей Степанович подумал, что надо бы предложить ей чаю или кофе, когда будет уходить. Или она неправильно поймет его предложение? Нет, надо

предложить, невежливо получается. Тело болело действительно сильнее прежнего, но того страха, как после первого сеанса, уже не было. Не то чтобы до конца поверил Алесе, но больше не думал о том, что она сделает еще хуже. Подолгу сидеть за столом Андрей Степанович по-прежнему не мог, поясница не давала, но он и не ждал немедленного результата.

Мысль о чае не отпускала, даже когда пальцы Алеси добрались до самой болезненной зоны, словно проникая под кожу, раздвигали мышцы, охватывали белый цилиндрок позвонка. Как будто хищная лошадь вгрызалась в спину, высасывая боль. Но – предлагать, не предлагать – вертелась мысль о чае, придавая ситуации новую двусмысленность. Пахло от Алеси сегодня чем-то другим, пахло тревожно и волнующе.

Когда его попросили перевернуться лицом вверх, запах – нет, не запах, он ошибся, не мог найти определения, нечто вроде запаха, не ощущаемого носом, – сделался нестерпимо пронзительным. Андрей Степанович обнаружил, что возбудился, скрыть это под старенькими плавками невозможно, но стыда почему-то не испытал. О чае, разумеется, теперь не может быть и речи, Алесья поймет его именно что не так. Хотя, как ни странно это выглядело, Андрей Степанович был убежден, что сама Алесья не имеет отношения к его возбуждению. Он очень консервативен, верен идеалу роскошной белотелой блондинки с длинными волосами, маленькая, смуглая, коротко стриженная Алесья с пушком над верхней губой и непозволительной молодостью нисколько не волновала его. Женщина-девочка не могла прельстить сублильного старшего преподавателя кафедры теоретической механики.

Проводив массажистку, бесцельно поплелся в ванную, где Алесья мыла руки перед сеансом, в слабой надежде еще раз услышать странный запах. В раковине уныло кисло намоченное белье: трусы вперемешку с носовыми платками и носками. Запах действительно присутствовал, отчетливый запах немытого белья.

– Черт, как неудобно получилось, – подумал Андрей Степанович и тотчас перебил себя: – Что же, она руки не мыла, так получается? Может, в ванной? – Но ванна сухо мигнула порывшим сливом. – Не мыла руки-то. Неприятно все-таки.

К следующему разу Андрей Степанович отскоблил разводы ржавчины в ванной, невзирая на боль в спине, и помыл раковину. Замешкался, прислушиваясь, включит ли Алесья воду, не успел расстелить одеяло. Алесья мяла его спину твердыми пальцами, уже не просила расслабиться, все отлично получалось и так, больно давила на какие-то ей одной ведомые точки, но тело радовалось и словно ждало этой недолгой боли, после которой наступало очередное расслабление, и ничего больше. Ни запаха, ни возбуждения.

– Я сегодня вас помучаю, – говорила Алесья, – вы как, потерпите?

Андрей Степанович благодарно терпел, под конец разболтался, как пьяненький, не мог унять, выложил все, не нужные Алесе кафедральные заморочки, приступил к рассказу о племяннике Николае, а хищная лошадь грызла поясницу, а боль стекала по телу, пряталась в ногах, но Алесиные пальцы настигали ее, выбирая из слабеньких мышц.

"Показалось", – решил Андрей Степанович, в очередной раз лежа на полу и прислушиваясь к собственным ощущениям. А может быть, Алесья нажала куда-нибудь по ошибке позапрошлый раз, и вышел такой вот... эффект. Расспросить бы ее об эротическом массаже или неудобно? Интересно, сколько стоит? Наверняка больше лечебного. Можно и потом спросить, когда со спиной закончим. Не стоит смешивать. А ведь к ней наверняка обращались с предложениями такого рода, почему же он не решается?

– Сколько вам лет, Алесья? – внезапно брякнул Андрей Степанович.

– Двадцать девять, – Алесья не прекратила своих манипуляций.

– Надо же, а выглядите на девятнадцать, – удивился он. – Вы, наверное, сами себе какой-нибудь хитрый массаж делаете. А какой бывает массаж? Каких видов?

– Спортивный, – ответила массажистка, – косметический. Нас всему учили, вплоть до эротического. А что?

Андрей Степанович глухо молчал.

– Нет, нет, – сказала Алеся, когда пациент привычно растянулся на животе. – На этот раз ложитесь на бок, вот так, – она завела его руку за спину, потрясла за локоть. Необоняемый запах проколол Андрея Степановича, как булавка бабочку, сердце заколотилось, он даже застонал.

– Больно? – Алеся убрала пальцы.

– Нет-нет, – Андрей Степанович плотно зажмурился, под веками мелькнули тяжелые золотые пряди, хлестнули по зрачкам. Он сжался.

– Расслабьтесь, пожалуйста, что это с вами сегодня? Устали? Или все-таки больно?

– Н-ничего, продолжайте, – пробормотал он, привыкая к возвращенному чуду. Казалось, что сквозь закрытые веки он различает стройную шею под высоко заколотыми золотыми прядями, полные белые плечи, узкую спину, вздрагивающую, словно от холода или внезапного прикосновения. Возбуждение не заставило себя долго ждать.

– Хорошо, – словно за удачно выполненное упражнение похвалила Алеся. – Встаньте на колени, ко мне спиной, – и выпустила на волю хищную лошадь. – Теперь уж немного осталось, видите, боль локализовалась.

Андрей Степанович не видел ничего, кроме того, что под веками, кроме прекрасной гибкой спины, распростертой прямо перед ним. Он насилие проводил Алеся до дверей, рухнул на диван и провалился в забытие на несколько часов, наплевав на неподготовленную лекцию. Очнувшись, ткнулся в ванную – освежиться, прийти в себя. Крутанул кран – никакого эффекта. Ни холодная, ни горячая вода течь не желала.

– Отключили, заразы, – вяло возмутился. – Опять авария, до чего осточертело, – и замер. – Интересно, когда Алеся приходила, воду уже отключили? Она опять не помыла руки? – разгадка плеснула хвостиком по поверхности, помедлила и выпрыгнула вся, блестящая и убедительная в лучах воспаленного сознания. – Нет, такого не бывает, это эзотерика, – Андрей Степанович уничижительно произносил "эзотерика". – Это из области студенческих кафе и желтой прессы. Спросить Алеся? Да что за глупости. Осталось еще четыре сеанса, и все. Спине, между прочим, ничуть не лучше, – знал, что лукавил, спина, конечно, болела, но он уже вернул себе способность завязывать шнурки, не присаживаясь на ящик с обувью.

Во вторник Андрей Степанович держался с Алесей по-деловому сухо. Не постеснялся попросить размять левую ногу, массажистка, правда, отвечала, что, мол, сама видит. Отказался от массажа головы: "Знаете, Алеся, мне это ничего не дает, давайте ограничимся спиной и ногами". "Эзотерического" запаха, разумеется, не было и в помине.

В четверг решил, что ведет себя, как мальчишка, рассказывал Алесе институтские байки, неловко шутил и чуть было не предложил чаю, но очень уж хотелось поскорее остаться одному, и он промолчал.

– Мы выходим на финишную прямую, – напомнила на прощанье Алеся. – Осталось два раза.

"Скоро все кончится, – с утра вертелось в голове, – скорей бы. Посмотрим, надолго ли мне хватит этого курса. Алеся обещала, что чуть ли не год смогу жить спокойно. А с моими виденьями, если разобраться, ситуация абсолютно типична. Дамы влюбляются в своих психоаналитиков, мы – в массажисток, все правильно". Но понимал, что лжет себе, Алеся по-прежнему не вызывала в нем никаких желаний, но думать, что дело всего лишь в тривиальности ситуации – лежащий почти обнаженный мужчина, склонившаяся над ним женщина, – было безопасней. За десять минут до прихода массажистки не выдержал, ринулся в ванную комнату, покидал в раковину все, что попало под руку: полотенца, сохнувшие на змеевике носки, насыпал порошка, заткнул раковину, залил водой. Этого показалось недостаточно, на всякий случай отключил стояки с холодной и горячей водой. Все. Осталось два раза.

Алеся коснулась руками его кожи, и Андрей Степанович разглядел все: и узкую белую спину с родинкой под левой лопаткой, и стройную шею, и узел золотых волос с выбивающимися короткими завитками. Даже смутно различил пушистый не то коврик, не то плед, свернутый валиком под плечами. Лишь лица ее не было видно, но лицо было прекрасно, он знал это: прекрасное любимое лицо с полузакрытыми глазами, прижимающееся нежной щекой к пушистому пледу. "Надо спросить Алеся, у кого она бывает перед тем, как прийти ко мне, надо узнать адрес. Согласится ли сказать? Вдруг это неэтично по их, врачебным, меркам. Ничего, я уговорю ее. Но не сейчас, еще чуть-чуть посмотреть на эту прелестную спину, полюбоваться мягкими завитками".

Спина самого Андрея Степановича уже не отзывалась болью на прикосновения, тело казалось легким и упругим, как в детстве.

"Не сегодня, – струсил Андрей Степанович. – В следующий раз спрошу".

– Видите, как мы хорошо справились. И быстро, – говорила Алеся, натягивая серое коротенькое пальтецо. – Я думаю, вам не нужен десятый сеанс. Постарайтесь первое время не очень напрягаться, через месяц исчезнут все остаточные явления. Если что-то будет беспокоить, позвоните обязательно. – И исчезла за дверью.

Он позвонил на следующий день.

– Нету, – нелюбезно ответил мужской голос.

– Наверное, муж, – решил Андрей Степанович. – Извините, я ее пациент, мне очень надо. Понимаете, похоже у меня начинается обострение... Когда я могу перезвонить, будьте любезны...

– Съехала, – раздражаясь, заговорил неизвестный на том конце провода. – Съехала, а адреса не оставила. С утра, блин, по объявлению звонят, не имела она права давать телефон съемной квартиры, разбирайся теперь со всеми, один вы, что ли, такой!

– А вы случайно не знаете, – начал несчастный, – но услышал лишь короткие гудки отбоя. Все было кончено.

Прошел месяц и еще один месяц. Спина не болела. Болела, наверное, душа – или что там, внутри, там, где болело после первого сеанса Алеся, когда он так испугался. Андрей Степанович сник, неприятности с Николаем перестали его волновать, даже студенты не сердили Андрея Степановича, даже коллеги не раздражали. Он купил новый портфель, безумно дорогой и ненужный, и не испытал ни радости, ни сожаления по поводу собственного мотовства. Он сходил в ресторан, чего никогда не позволял себе со времен аспирантуры. Он начал ездить на работу на маршрутках вместо троллейбуса.

Однажды, когда почки на деревьях уже выдвинулись и в воздухе отчетливо запахло мокрым песком, бензином, всей той волшебной смесью из раннего детства, забытого целиком, за исключением этого вот запаха городской весны и песочницы, Андрей Степанович залез в маршрутку и рухнул на сиденье, прямо на чьи-то сумки.

– Вы что, не видите, куда садитесь? – возмутилась пассажирка с лицом рыночной торговки пряностями.

Андрей Степанович не видел. Он не мог устоять, проколотый, как бабочка булавкой, волной неслышного запаха. Где она? Из четырех женщин, включая рыночную торговку, ни одна не походила на золотоволосую красавицу его видения. У двоих, правда, волосы были спрятаны под вязаными шапками, Андрей Степанович не выносил такие шапки. Их лица, обращенные на зашедшего нового пассажира, выражали усталость, равнодушие; даже секундный интерес, вызванный репликой торговки, не оживил эти лица. Поношенные пальто мрачных расцветок, полиэтиленовые пакеты с продуктами, забрызганные сапоги. Ее просто не могло быть среди этих заезженных жизнью теток.

Но запах плыл, воздух качался вокруг Андрея Степановича. Он не узнал ее. Она может выглядеть совсем не так, как ему представлялось там, на полу своей комнаты под пальцами

Алеси. Она устала на работе или по хозяйству, у нее мог выдаться тяжелый день или целый месяц. До института еще пятнадцать минут езды. Он успеет. Он поймет – кто. Он все-таки нашел ее.

Равновесие

Алина мама казалась мне обычной женщиной. То, что она к сорока годам защитила докторскую и стала заведовать кафедрой гидравлики, не делало ее большим ученым и не возводило на пьедестал в назидание сборной прочих мам. Скорее, приталенное коричневое пальто и широкополая шляпа служили знаком отличия в нашем доме, где половина жильцов имела какую ни на есть ученую степень, преподавала в том же институте, но не носила чудесной мягкой велюровой шляпы, как Ольга Александровна.

Другое дело – Аля: маленькая, неловкая, с клейкими белесыми прядками и кривоватыми ножками на стоптанных в одну сторону каблуках. С самого раннего детства для нее мама – Мама – проходила по ведомству выдающихся людей. Помню, как в старшей детсадовской группе наша воспитательница с гипертрофированным чувством рабочего долга предложила рассказать о профессиях родителей. На всю группу набрались только один папа-сантехник у Зои и мама-уборщица у Коли, но о Коле позже. Остальные оказались заурядными преподавателями, доцентами, докторами. И вот Аля встала перед нашей на диво однородной, как тесто для блинов, группой, выпрямилась прутиком внутри просторного платья и веско заявила:

– А моя Мама, – так и сказала, с большой буквы, – моя Мама – ученая.

На прогулке дети дергали Алю за широкий подол и кричали: "Твоя мама ученая, ест дермо печеное". Особенно усердствовал Витя, сынишка проректора, и то правда, разве проректорство – научная дисциплина? Аля сморщилась, зажмурилась и неожиданно стукнула Витю кулачком прямо в нос. С появлением первой крови дуэль прекратилась, воспитательница, разобравшись в чем дело, думала до полдника – говорить или нет родителям, но, выпив какао с детским печеньем, решила, что сор из избы выносить на ночь глядя не следует.

В школе все считали меня Алиной подругой, включая саму Алю, что неправда – я просто соседка, а подруги ей были не нужны. У Али – Мама. Первый раз я зашла к ним домой, когда мы учились в школе.

– Тетя Оля, – начала я с порога, – Аля дома?

– Не тетя Оля, а Ольга Александровна, – строго поправила меня Аля, выныривая из кухни на волне теплого воздуха с отчетливым привкусом подгорелой яичницы. Пройти в комнату тогда так и не пригласили. Позже мне доводилось посещать и комнату, и кухню: раз в год, было бы странно, если чаще, Алина мама устраивала день рождения дочери с приглашением близких подруг и друзей, каковых оказывалось обычно двое: я и Коля, тот самый сын уборщицы, живущий выше этажом. Раз в год приходила к Алиной маме и уборщица – мыть окна за деньги, пока Аля не выросла настолько, чтобы делать это самой. И происходило это во времена, когда день рождения еще казался нам значительным праздником.

Совсем мне не хочется рассказывать об этой дурацкой нескладной девочке, изо всей истории примечателен лишь момент, когда Аля отложила мелко исписанные тетради и взялась за тряпку для пыли, но это произойдет в самом конце, а до него рассказывать и рассказывать. Кого боги хотят наказать, того наделяют последовательностью – так должна звучать поговорка, на мой испорченный хорошей учебой и аккуратностью взгляд.

Коля – высокий, сутулый и даже в детстве, как будто бородатый, жил с мамой, подобно Але. Я слышала, как одна наша соседка с возмущением рассказывала другой о звонке Колиной мамы сыночку: "Ты подумай, говорит, вкусенького тебе принесу сегодня, сосисочек принесу!" Сперва я решила, что соседку возмутило слово "сосисочки", потом – с моим полным неодобрением соседкиных чувств – что уборщица звонила домой с кафедрального телефона, не по рангу. Правду я узнала гораздо позже, после того как разразились всяческие кризисы и сосиски для моей семьи, увы, стали не самым заурядным блюдом. А если короче, то Коля всегда был не прочь перекусить в гостях, но старался скрывать свои желания. С Алей они сидели

за одной партой, очень удачно: один тихий и несколько не от мира сего, другая – никакая и целиком от мира мамино. Коля и в гости стал ходить к Але почти каждый день, что его мама одобряла – как же, семья приличная, да и ребенок под присмотром, правда, неясно под каким, Ольги Александровны вечно не случалось дома. Но о ней, об Ольге Александровне, и речи нет – не одобряла бы, Коли бы вовсе не было не то что у них дома, но и за партой рядом с Алей.

В школе Аля научилась помалкивать об ученой маме, да и обстановка изменилась: в классе у детей встречались всякие родители. Про Нинину маму ходили слухи, что она из "этих" женщин. Когда Нина позвала нас на день рождения, пошли все, из любопытства, с замиранием сердца. Наш сладкий ужас вознаграждался: на столе – а учились мы тогда в пятом классе – стояла бутылка коньяка, и каждому налили маленькую рюмочку, после чего стало жарко в животе и весело в комнате. Но Аля свою рюмку вылила в тарелку сидевшей рядом девочки, не пошла с нами играть в снежки, и вообще больше ни к кому не ходила в гости.

Мы жили на Пряжке, что звучало несколько двусмысленно, так как на Пряжке – сумасшедший дом, прямо напротив нашей школы, через реку. Мы ходили к страшному дому по едва замерзшей Пряжке, лед трещал под ногами, вокруг следов расплывались темные пятна подступавшей воды, и тот же страх, как тогда у Нины в гостях, нежно баюкал нас и гнал к проталине у моста. Аля смотрела на нас с берега, ни слова не говоря и не обращая внимания на поддразнивания, а когда тяжелый снежок выбивал портфель у нее из рук, отходила подальше и смотрела невыразительно и упорно.

Конечно, она поступила в мамин институт, но училась средненько. Странно, как можно так учиться, если не пропускаешь лекции и вовремя делаешь курсовики? Но почему-то все, что делала Аля, оказывалось недоступным нашему пониманию. Коля учился в Горном институте и где-то подрабатывал по вечерам, чтобы помочь своей маме. Возможно, поэтому они с Алей и поженились. Тому и другому некогда крутить романы, некогда влюбляться и бегать за сиренью в Алешин садик, да и привыкли друг к другу с детства. Поженились они самыми первыми из нашего выпуска, раньше, чем легкомысленная Нина, раньше, чем красавица Маринка с длинными черными косами; но подруги не подвели, как опытные стайеры. Сейчас у них на двоих насчитывается седьмой поход на улицу им. Петра Лаврова, успевшую стать Фурштатской. Для тех, кто не совершил ни одной попытки, поясню, что эта улица знаменита не только близостью к пивбару "Медведь", но и как место парковки "Волг" и "Чаяк" с душераздирающими куклами в белых платьях и фатах на капоте.

Колина мама тихо одобрила выбор сына – ну как же, девочка так привязана к своей матери, такая домашняя, из нее получится отличная жена и хозяйка. Да и семья не из простых. Чем руководствовалась Алина мама, непонятно, ну а сама Аля, ясное дело, ориентировалась на нее. Мне казалось, и чем дальше, тем чаще, что Ольга Александровна не прочь была отодвинуть дочь подальше, не то чтобы совсем избавиться от нее, но дистанцироваться. Странно, потому что Аля без конца демонстрировала, какая она хорошая дочь и хозяйка: готовила, убирала – маме некогда со своими статьями и лекциями. После свадьбы Аля переехала к мужу, чтобы маме не мешать, в точно такую же однокомнатную квартиру этажом выше. У свекрови молодая не делала ничего, проводя свободное время внизу у Ольги Александровны, продолжая там вести хозяйство, как ни в чем ни бывало. Свекровь, существо забитое и безропотное, вполголоса пожимала плечами, а Коля готовился к защите диплома и подрабатывал теперь не только на маму, но и на жену.

Забыла упомянуть, что через неделю после свадьбы Аля выстирала и убрала подальше красивую, но неудобную новую ночную рубашку и достала ту, что носила с восьмого класса, с аккуратной нераспускающейся дырочкой под мышкой, но это Але все равно.

Когда Аля, как положено, через девять месяцев попала в роддом, она успела перед решающим моментом позвонить маме и отчитаться, что отошли воды. И сразу жизнь пошла живее и разнообразнее. Под своих новорожденных близнецов Аля получила двухкомнатную квартиру,

в том же доме, с той же свекровью. Коля, годик отработав в городе, подался в геологоразведку и жил в новой квартире не больше трех месяцев в году. Свекровь пошла на пенсию и плотно села с внуками, денег пока хватало. Аля же, отработав в своей проектной конторе – с наукой у нее так и не сложилось, – напрямик шла к маме и лишь после того – домой.

Поначалу Аля как-то пыталась установить с мужем более "трепетные" отношения, чем те, что сложились у них в эпоху сидения за одной партой. Например, она звонила мужу на работу и после того, как его полчаса искали, чтобы позвать к телефону, спрашивала: "Ты по мне соскучился?" Коля кричал: "Что? Говори громче, у нас очень шумно, изыскатели вернулись". После чего Аля предупреждала, что вечером пойдет к маме. Но с мужем, по крайней мере, предпринимались попытки, а дети у молодой мамы вызвали недоумение, то ли потому, что их оказалось сразу много, то ли потому, что родились мальчиками. Аля точно помнила, что она такой не была, она всегда любила маму, а ее дети равнодушно взирали на родителей, но впадали в истерику, стоило бабушке скрыться из поля зрения. Аля вышла на работу после декретного отпуска, когда детям не было и года, сослуживцы удивились, но решили, что молодой семье не хватает денег, и выписали Але материальную помощь. Конечно, мальчишки привыкли к свекрови, в том числе из-за Алиной работы. Но Ольга Александровна, Мама, даже на месяц не брала декретного отпуска! И тем не менее ее отсутствие не отразилось на Алиной привязанности. Кто сидел в няньках, пока мама вела занятия в институте, Аля не помнила, как не помнила многого из своего детства, даже случай с коньяком на дне рождения у Нины.

В целом новообретенные родственники оказались "при своих" и довольны: Коля в поле, гуляй не хочу, свекровь с детьми как главная хозяйка – а кто бы ей такое позволил, при ее-то курином характере! Ольга Александровна осталась с наукой и готовым обедом, сваренным Алей. И только Але временами начинало казаться, что она чего-то недополучила в жизни: может быть, маминой признательности? Нет-нет, что за глупости, все правильно, разумно устроено. Никто лучше Али не представляет значительности и масштаба маминой личности. Понимать же надо! Мама, кстати, предлагала ей тему для диссертации, кандидатской, и обещала помочь, и когда-нибудь Аля напишет, что надо.

Если в компании пойдет речь об Алиной ограниченности, я первая с пеной у рта стану отстаивать одноклассницу, но себе самой признаюсь, что я-то поумнее буду, о чем речь. И тут две странности. Первая – мы нередко чувствуем себя умней некоторых наших приятелей, и не некоторых, а многих. Мы и говорим более связно, и мыслим четче и верней. Но куда что девается, когда мы сталкиваемся с "авторитетом": речь наша запинаятся и скачет, мысли разбегаются, как нерадивые школьники. Вторая – оговариваются наши учителя, родители запросто могут сморозить несусветную глупость, самый прочный "авторитет" ни с того ни с сего выдает не то чтобы чушь, но редкую пошлость, и мы, хоть сами тысячу раз оказывались в сходном положении, мы испытываем приступ разочарования или, напротив, умиления, но вера наша после подобных ляпсусов умалается – чуть-чуть, на воробьиный шажок, как день в декабре. Неужели с Алей не случилось такого, неужели ее вера в Маму не ведала сомнений? Мне холодно от подобного предположения, я не понимаю, в чем дело. Но пора завершать историю. Я не описала Колину маму, а она как-никак участница событий, но что делать, если не помню ее имени, а что до внешности, ну уборщица – она и есть уборщица, ни к чему замедлять повествование перечнем ее бурных юбок и нитяных чулок.

Итак, близнецам исполнилось шесть, и первый экономический кризис стоял уже не на пороге, а в прихожей. Аля вернулась, удачно отоварив карточки, даже свекровины, маслом и гречневой крупой, но на звонок – в действительно родную квартиру – ей никто не открыл. Ключи от маминой квартиры у нее, конечно, были, но там, наверху. Надо подниматься, спускаться, свекровь не к месту поинтересуется, полезет в сумки. А лучше бы мама сперва выбрала, какое ей надо масло. Привычно побежали заветные игрушечные мысли: случилось страшное, что именно страшное – никогда не додумывалось, но становилась ясна последовательность

действий: "скорая помощь", милиция и так далее. Привычно Аля прогнала эти мысли, представлявшиеся ей стайкой толстых хомяков, именно хомяков, не мышей и не крыс. Тем не менее следовало что-то предпринять. Наверх, к свекрови, Аля поднялась в полусне, и отдаленно не напоминавшем истерику. Распаковала сумки, переговорила со свекровью и села пить чай, глядя в окно.

– Алечка, что-то случилось? – спросила свекровь через полчаса, глядя на пакеты с крупой и бутылки с постным маслом, обнаружившиеся в холодильнике, куда она полезла за молоком для близнецов. Какое-то время Аля не могла объяснить ничего, потом равнодушно обрисовала ситуацию, и ее сразу же неудержимо потянуло в сон.

Свекровь подхватила, принялась накручивать телефонный диск, сбегала вниз, на ходу успокоила закапризничавших близнецов и наконец обратилась к невестке снова: "Аля, где твои ключи от маминой квартиры?" Аля достала связку и продолжила чаепитие, краем сознания удивляясь своей отстраненности. Свекровь ушла и не вернулась ни через десять минут, ни через полчаса. Когда раздался телефонный звонок, Аля уже знала, что сейчас услышит, и самая отдаленная провинция ее сознания послала сигнал, что надо бы отреагировать, но громко нельзя, дети рядом, да и как выгудит громкая реакция? Аля на всякий случай немножко повыла, не обращая внимания на мальчишек, которые враждебно и испуганно забились в угол за диваном. Пришла свекровь, лихорадочно кинулась к серванту, обыскивая ящичек, где лежали паспорта, на ходу кинула:

– Тебе, Алечка, тоже надо спуститься, сейчас приедет "скорая".

Аля согласилась и погрузилась в размышления о том, как ей говорить с врачами. Свекровь тем временем звонила в квартиру напротив и что-то верещала насчет детей, выскочила до отвращения опрятная соседка, жалостливо кивая, разглядывая Алю и прикидывая, как сообщит новость вечером их общей знакомой, да нет, надо и остальным соседям сообщить, дом-то институтский, все вместе работают и знают друг друга.

В маминой – теперь она сразу стала маминой, и только – квартире Аля села в прихожей на ящик с обувью и не двинулась до приезда "скорой". На вопросы врачей реагировала по-прежнему спокойно и равнодушно, но ничего не объясняла сама, предоставляя свекрови право разворачиваться на поле действий. Та хваталась за сердце, поминутно пила валерьянку, но толково распорядилась, отправив бесполезную, как оказалось, Алю к близнецам.

Коля на похороны не приехал, в поля, где он чего-то разведывал, телеграммы и те попадали хорошо если через неделю. Алино отупение никак не желало отступать, целое утро перед похоронами мысли долго и тщательно кружили вокруг черного шарфа: как закрепить его на Алиных коротких волосах. В автобусе по дороге к кладбищу тщетно пыталась заплакать, слезы пришли только во время речи проректора и скорей от злости на то, что он говорил. Никто из выступивших над гробом не отметил настоящего значения Ольги Александровны, никто не оценил по достоинству.

За поминальный стол Аля присела на полчаса, затем, не говоря ни слова, ушла к детям наверх – сменить соседку. Но пока сидела за столом, больше всего боялась услышать посторонние разговоры и анекдоты, похороны ведь никогда не обходятся без анекдотов. Можно сказать, что ей повезло, услышала только одну странную фразу, как раз от проректора, который, не заметив Алю, сказал соседу, видимо, продолжая давно начатый разговор:

– Обычное дело, как правило, человек кокетлив в своем горе – неосознанно.

На работе, где большинство сотрудников были когда-то учениками Ольги Александровны, отнеслись с пониманием и отпустили Алю аж до сорокового дня, но начальник, подписывая заявление, сказал проникновенно простуженным голосом: "Алечка, может быть, вам лучше выйти на работу пораньше, ради самой себя, надо же отвлекаться!" Аля ненавидела разговоры на тему недавнего несчастья и быстро научилась переносить ненависть на собеседника.

Захотелось нахамить начальнику, ударить его по худому унылому лицу с бессильно поникшими под ударами судьбы усами. Сдержалась.

Свекровь не трогала Алю, как обычно, да и близнецы почти перестали обращаться к ней. С самого утра, попив чаю с голой булкой, Аля уходила вниз. Она не думала о том, что будет с квартирой, – постыдные мысли, в конце концов, свекровь или Коля разберутся. Она приходила и убирала, убирала до посинения. Начищала хрусталь в серванте, выгребала посуду из кухонных шкафчиков, промывала их слабым раствором борной кислоты – от возможного нашествия гипотетических тараканов, натирала паркет жидкой, плохо впитывающейся мастикой и – дольше тянуть было нельзя – добралась до письменного стола. Стол – Мамин стол – следовало разобрать. Трепет перед возможным и близким святотатством переполнял ее, как вздувшуюся банку с компотом. Ни первый поцелуй, которого она, кстати сказать, не помнила, ни первая близость с Колей, ни первое шевеленье плода – плодов – не отзывались таким сладким замиранием в чреве, как звук открывающегося ящика темного полированного стола. Учебники, написанные или отредактированные Мамой, множество ее методических пособий, конспекты лекций – все бережно выгружалось на свет, пролистывалось, складывалось в том же священном порядке. В самом последнем ящике, под папками для дипломного проектирования, обнаружилась связка тетрадей и блокнотов, исписанных убористым и четким Маминым почерком. На первой тетради красовалась надпись на немецком языке, Аля полезла за словарем и перевела: "Дневник моей жизни". Ее слегка затошнило от волнения, сейчас она узнает последнюю правду, между ними с Мамой не останется никаких секретов, наконец-то она прочтет о том, как Мама любила ее, скрывая проявления своей любви за повседневной занятостью, за работой, за бесконечными дипломниками, заочниками, аспирантами. Сейчас.

Первая тетрадь оказалась историей любви. Любви нелепой и постыдной. Дневник вела чужая недалекая женщина со словарным запасом кухарки из Ельца. Объект любви был безобразен и хамоват. В конце дневника обнаружилось и его письмо, письмо пошлого самца, дающего полную отставку очередной своей пассии, письмо, закапанное слезами, в их разводах не всегда угадывались окончания предложений, которые и угадывать-то не стоило. Разрыв произошел восьмого марта. Аля бы не поверила в реальность такой банальщины, если бы не вспомнила отчетливо, как мама не любила этого праздника, никогда не отмечала его – тогда казалось, что не любила из-за очевидно совдеповского характера навязанного торжества, а теперь открывалась изнанка, полная размазанных слезами строк и банальнейшего адюльтера. Далее объект исчезал из маминой жизни, но не из дневника. И в последних тетрадях встречались бесконечные абзацы, обращенные к покинувшему, абзацы, полные любви, прощения и беспроектной пошлости. Ни строчки, ни слова о дочери, об Але. Только во второй или третьей тетради попались записи о том, как тяжело со временем, что лучше пешком добежать до дома и покормить ребенка в перерыве между занятиями, чем дожидаться 43-го трамвая, идущего не по расписанию. И единственное замечание о том, что девочка абсолютно не похожа на отца.

Такого не могло быть. Но тетради лежали перед Алей, давно сидящей на полу, как целлулоидный пупс с раскинутыми ногами и большим пальцем во рту. Аля отчетливо осознала, что со стороны выглядит свихнувшейся домохозяйкой в своем строгом кухонном переднике и с тряпкой для пыли на коленях. Вот и все. Надо уничтожить эти тетради, чтобы никто никогда не узнал, что мама, Мама... А что не узнал? Что она оказалась обычной женщиной? Пошлой женщиной? Женщиной, в конце концов? Нет, нет – несправедливой женщиной, так-то! А квартиру удастся оформить запросто, раньше не помнила, а теперь всплыло что-то про дарственную, или нет? Неважно, проблемы имеют свойство разрешаться. И Аля поднялась с пола, сжимая тряпку в левой руке, обтерла тетради и аккуратно сложила их на прежнее место под твердые коричневые папки для дипломного проектирования. Абсолютно чистые папки.

Голос его жены

Ее босоножки цвета голубиноного крыла быстро щелкали по деревянным ступеням, и, обгоняя этот птичий и лесной звук, летел голос:

– Милый, ау! Вот и я!

Гостиница была довольно новая, но желтые стены здания пестрели серыми проплешинами отвалившейся штукатурки, масляная краска, толстым слоем положенная на деревянные оконные рамы – никаких стеклопакетов, – потрескалась. За стойкой регистрации должен бы находиться медлительный порттье в вельветовом, потертом на локтях пиджаке и меланхолично разглядывать посетителя, а сидели две молоденькие свиристелки, чуть не школьницы, не сидели – вертелись, стрекотали. Хоровое радостное "здравствуйте" прозвучало, не успел он полностью войти в двери.

– Моя жена, – "жена" выговорилось на удивление легко, естественно и без надрыва, – моя жена останавливалась здесь на пару дней не так давно, кажется, в конце той недели. Кажется, в двадцать четвертом номере.

– В двадцать четвертом, – подтвердила темненькая и странно взглянула на него, а после на подружку-блондинку. Блондинка открыла рот, собираясь что-то добавить, но промолчала, лишь хихикнула. Почему-то блондинки часто хихикают, когда затрудняются с ответом, он давно заметил. Жена была шатенкой, чуть-чуть в рыжину, если на солнце.

– Она, жена, кое-что оставила в номере. Потеряла. Да, потеряла. Рассеянная. Вот, мне приходится...

– Но ведь вы... – начала блондинка, справившись с дурацким смехом.

– Горничные нам ничего не передавали, – голос темненькой стал ниже и глубже, она занервничала. Еще бы ей не нервничать – не понимает же! – А что она потеряла? Что-то ценное?

– Как сказать... – равнодушно посмотрел на обеих, казалось, слова даются ему уже с трудом, столько сил уходило на борьбу со скукой, что речевой аппарат сбоил. – Кому как. Кому – ценность, а кому, напротив, – благо, – с укоризной мазнул зрачками блондинку. – Голос потеряла, – его интонация окрепла и взметнулась к невысокому чистенькому потолку. – Да, голос.

– Это вы метафорически? – темненькая явила зачатки интеллекта. Ох, как ему скучно все-таки, скучно.

– Но ведь вы... – занудствовала в своих недосказанностях блондинка.

– Барышни, я хотел бы снять этот номер. Сейчас. На день, на два. Пока не знаю точно, сколько мне потребуется дней... Или это сложно? В вашем городе такое уже не практикуется? – подпустил сарказма, как ему казалось, достаточно, чтобы поставить их на место.

– Пожалуйста! – темненькая обиделась, но он того и добивался. Пусть не пристают. – Номер свободен. Запишу вас на два дня, дальше продлим, если потребуется.

– Но ведь вы... – обреченно заметила блондинка.

Он резко бросил паспорт на стойку, давая понять, что разговор окончен.

Не распаковывая вещи – нечего было распаковывать, – он вышел в город. Набережная показалась удивительно знакомой: каменная беседка с шишечкой на крыше, невысокая ограда самого простого рисунка, вон там, за липами на излучине, должна быть скамья, и точно, вот она. Хотя почему бы ей там не быть, место живописное. Наверное. Только-только начинает отцветать сирень, еще пахнет одуряющее навязчиво, над всей набережной тянется, как птичья стая, ее горьковатая нота; но уже появились в рыхлых гроздьях соцветий коричневые точки увядания. Ужинать он не пошел, не хотелось. Бродил бесцельно до наступления темноты, изучал скупые витрины сувенирных лавок и редкие парочки, одетые с провинциальной смелостью,

пару раз столкнулся с компаниями подростков, накачанных пивом. Компании провожали его свистом, но то была детская бравада, никакого страха, даже в зародыше, подростки по себе не оставляли.

Около десяти вечера вернулся в гостиницу. За стойкой наконец-то появился меланхолический портье в коричневом вельветовом пиджаке. Выдал ключ от номера, не глядя на постояльца, и углубился в газетный кроссворд. Газета была недельной давности, столичная.

– Ты ищешь не там, – сказали ему вишневые муаровые шторы из того же материала, что и покрывало на кровати – дешевая синтетика, на глаз видно.

– Не здесь, – засмеялась новенькая полированная тумбочка, совершенно нелепая, убогая, хоть и недавно приобретенная, еще пахнет клеем, ДСП и нежилым.

– Холодно-холодно, – скрипнула дверь совмещенного санузла.

Под кроватью что-то мелькнуло, мелко сворачиваясь, как каштановый завиток на шее, у жены волосы явно не такие яркие. Полез под кровать – плоская пыль, словно здесь не убрали никогда, а больше ничего.

К четырем утра отчаялся искать, лег в постель. "Ау, милый, ты слышишь?" – и шелканье ее пестро-сизых голубиных босоножек по желтым сосновым ступеням. Вскочил, обежал номер – ничего. Послышалось, приснилось. Пошел в душ, горячая вода не текла: в маленьких гостиницах захудалых городков всегда так, к восьми утра включают, не раньше. Холодные струйки дразнили кожу, шумно ударяли в душевой поддон. "Ау, милый!" – отчетливо за дверью, в номере.

Кого она звала? Не его, конечно. Того, с кем ночевала в этом номере, на этой кровати с бельем цвета шампанского в узкую полоску более темного цвета. Того, кому оставила себя, голос, шелканье звонких босоножек.

Он выскочил из душа, добежал до середины номера – всего-то несколько шагов, – оставляя мокрые следы. Шторы и тумбочка смеялись в голос. Мокрый, как был, рухнул на полосатое белье, лежал без сна, без сил, пока не рассвело окончательно. Тогда уснул. Во сне жена присела на постель, говорила шепотом, безголосая, упрекала, жаловалась. Ты измучил меня ревностью, ты убиваешь меня, шептала. А он, холодней, чем хотел, спрашивал: ну и где же твой голос? Отчего ты шепчешь? Кто кого убивает? Проснувшись, видел, как голос прозрачной лентой скользнул над постелью и вылетел в оставленную открытой на ночь балконную дверь.

За ним пришли сразу после обеда. Где-то к двум часам дня. Отыскать его оказалось не так уж и сложно, зарегистрировался же, по паспорту. Если бы за стойкой дежурила вчерашняя блондинка или хотя бы темненькая, они спросили бы – он убил свою жену? Да? Убил, оставил труп дома, а сам приехал сюда, где они вместе останавливались пять, нет, шесть дней тому? Но за стойкой продолжал восседать меланхолический портье в вельветовом пиджаке, тот ничего не спросил. А может, он заметил машину "Скорой психиатрической помощи", хоть она и остановилась за углом, чтобы не пугать постояльцев гостиницы.

– Энергичная бабенка, – сказал медбрат, слишком subtilный для такой профессии. – На фига ей этот фрукт-овощ, спрашивается? Бред ревности, как же! Знаем, плавали.

– Тебе-то что? – сердито отвечал другой, врач или санитар, непонятно. – Деньги запла- тили. Хорошие, между прочим. Дело семейное. Их дело.

Звери



Немецкие обезьяны

Ты боишься возвращаться домой поздним вечером? Конечно, боишься. Ты стараешься вечером вовсе не ходить одна. Ты еще помнишь, как тебя "проводжали" от метро трое. Они ничего тебе не сделали, даже не пытались, но это молчаливое угрюмое сопровождение пугало сильнее, чем привязавшаяся пьяная компания подростков. А тут еще слухи. Эти странные слухи об обезьянах.

Телевизор и газеты хранили молчание, разве в интернете в ленте новостей изредка встречались упоминания да болтовня на форумах, стираемая неведомым модератором на следующий день. Больше всего сведений можно было выудить в парикмахерской, у таксистов или в очереди к окулисту. Почему обезьян назвали немецкими – неясно, в Германии обезьяны не

живут. На рисунках (говорили, что сфотографировать их еще никому не удавалось) обезьяны походили на воинов Золотой орды, как тех рисуют в мультфильмах. Лицом, во всяком случае: черные жесткие космы, короткие челки на покатых лбах, высокие скулы, не желтые, скорее кирпично-красные, и раскосые карие глаза, глядящие на тебя со страницы зло и упорно. Ростом обезьяны были в полчеловека, тело покрыто короткой и редкой светлой шерстью, если верить картинкам. Каждый третий в очереди к окулисту и абсолютно каждый таксист уверяли, что видели их лично и близко, как тебя. Описания совпадали между собой, но также они совпадали с картинками. А как-то раз ты нашла первоисточник все в том же интернете. Это оказалась иллюстрация к "Приключениям Гулливера": так художник, чью фамилию ты тут же забыла, изобразил гуингмов, разумных обезьян, жителей страны Еху. Но выражение лица и взгляд простоватого гуингма разительно отличались от общего выражения обезьян.

Появлению немецких обезьян всегда сопутствовал сильный ветер, говорили, что от ветра они и рождаются. Давным-давно, десять веков назад, похоже объясняли рождение печенегов, но те рождались не столь поэтично: из болот. Немецкие обезьяны образовывали большие стаи и селились в заброшенных и пустых домах, предпочитая те, где исправно электричество, а еще лучше есть сетевой кабель. Дело в том, что больше всего на свете обезьяны любили смотреть телевизор. Если с умом взяться за дело, их легко можно переловить, устроив приманку из пустого дома с плазменными панелями во всю стену, кабельным телевидением и скоростным интернетом, но никто за дело не брался, потому как официально обезьян не существовало.

Стоит ли удивляться, что ты боишься ходить по улицам, едва стемнеет.

Но, конечно, "кто чего боится, то с тем и случится", все как предупреждала поэтесса. Само собой, ты столкнулась с ними, а иначе бы и рассказа не случилось. Дело было днем, в мае, в дачном поселке. Ты первый раз в этом году поехала на велосипеде на старый вертолетный аэродром, просто покататься. Вертолеты все еще взлетали с него, но вяло и неохотно, с каждым летом все реже. Остерегаться следовало не вертолетов, а бродячих собак, на этот случай в корзинке-багажнике у тебя хранился небольшой запас сухого собачьего корма. К середине лета собаки даже привыкали и встречали тебя заискивающим повизгиванием, а не грозным лаем. За аэродром располагались заброшенные казармы ликвидированной много лет назад воинской части, а перед ними ларек, как ни странно, действующий. В ларьке можно купить лимонад или джин-тоник в жестяных банках, сигареты и позапрошлогодние сухарики или чипсы. Тебе припичило заехать за сигаретами: забыла на даче пачку, а курить после непривычной физической нагрузки захотелось смертельно. Ты почти доехала до ларька, когда поднялся сильный ветер, буквально сдувая тебя с велосипеда и поднимая плотную волну песка, до того мирно дремавшего на дороге. А еще тебе показалось, что сдулось заднее колесо велосипеда. Ты забралась в барак почти напротив ларька, барак был у самой дороги, слишком на виду и по сему случаю реже прочих использовался как неорганизованный сортир. Песчаная буря местного дачного значения не одолела барака, и ты достойно, без спешки принялась подкачивать на самом деле слабое колесо. Так ты пропустила их появление. Но и они тоже не заметили тебя.

Вначале ты их услышала: вой и повизгивание, которые приняла за голос огромной собачьей стаи. После отчаянно закричала продавщица из ларька. Ты осторожно выглянула в оконный проем с выбитым окном. Продавщица улепетывала по узкой дорожке в лес, в другую сторону от поселка, и кричала, и всхлипывала, но уже тише, деликатнее. Они не преследовали продавщицу. Они накинудись на ларек. Мгновенно выбили стекла, вывернули дверь, хотя в том не было никакой нужды, похватили немудрящий товар. Слабоалкогольные напитки им не полюбились, и вот уже раздавленные жестянки зашипели пеной, смешиваясь с песчаными змейками на куске асфальта перед входом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.